

A close-up photograph of a white marble sculpture. The sculpture depicts a woman's head with curly hair, looking down with a gentle expression. Her hands are clasped together in front of her chest. The background is black.

ИРИНА МУРАВЬЁВА

Я ВАС ЛЮБЛЮ

Ирина Муравьёва — самый интересный русский прозаик
новейшего времени. Безупречная память, тонкий слух,
высокопрофессиональная наблюдательность
и дар сострадания — что еще нужно хорошему
писателю? Всем этим обладает Муравьёва.

Александр Кабаков

Ирина Муравьева

Я вас люблю

«ЭКСМО»

2015

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Муравьева И. Л.

Я вас люблю / И. Л. Муравьева — «Эксмо», 2015

Они – сестры. Таня, вчерашняя гимназистка, воздушная барышня, воспитанная на стихах Пушкина, превращается в любящую женщину и самоотверженную мать. Младшая сестра Дина, наделенная гордостью, силой и дерзостью, околдовывает мужчин, полностью подчиняя их своей власти. Страшные 1920-е годы играют с девушками в азартные игры. Цель их – выстудить из души ее светоносную основу, заставить человека доносить, предавать, лгать, спиваться. Для семейной жизни сестер большие исторические потрясения начала XX века – простые будни, когда смерть – обычное явление; когда привычен страх, что ты вынешь из конверта письмо от того, кого уже нет. И невозможно уберечься от страданий. Но они не только пригибают к земле, но и направляют ввысь.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Муравьева И. Л., 2015
© Эксмо, 2015

Содержание

Барышня	6
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Ирина Муравьева

Я вас люблю

© Муравьева И., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Барышня

В этот день, то есть седьмого февраля 1914 года, в Москве была сильная метель. Всё двигалось под серебром и если замирало, то на секунду, а через секунду опять вспыхивало, рвалось снизу вверх, откуда валило, слепило, откуда неистово жгло белым ветром.

Дом на Плющихе, в котором жил доктор Лотосов, был двухэтажным деревянным домом, зимой в нем топили кафельные печи, а лестница черного хода вся благоухала промерзшей капустой, дровами, смолой и запахом снега.

Вряд ли я успею одолеть это расстояние – от метели 1914 года до пасмурного июня 2009-го, – хотя там, наверху, верно, скажут, что это и не расстояние вовсе. Тогда шел, шел снег и стучали пролетки, а нынче оплакивают Майкла Джексона, который был маленьким черным мальчишкой и звонко пел песни, потом вдруг явился неведомо кто – наверное, ночью явился, украдкой, – убил первым делом мальчишку, перед смертью наобещав ему молочные реки, сахарные горы, дома из попкорна и много игрушек, – убил, закопал, где нога человека отнюдь не ступала (а зверя – подавно!), и вместо убитого вырос костлявый, белей алебаstra, с приклеенным носом. Сказал, что он – Майкл, фамилия – Джексон. И стали вокруг бесноваться и хлопать.

А так всё на свете. Все были детьми, попадали под дождик, все рвали цветы и орали от боли. Потом всех убили и всех закопали. Остались деревья и виды предместий. И главное, так удивительно скоро!

В феврале 1914 года, за много лет до того, как отправили в пустоту и там, в пустоте, умертвили несчастных: животное Белку, животное Стрелку, – за много лет до того, как началась война в Афганистане, вышел на экраны фильм «Анна Каренина» и начали сперму вливать из пробирок в чужое покорное женское лоно, короче, задолго до всех наших бедствий – задолго до бомб, лагерей, трансплантаций – был дом на Плющихе.

Александр Данилыч Алферов, муж Александры Самсоновны Алферовой, чье имя носила женская гимназия, в которой училась Таня Лотосова, преподавал литературу в старших классах, и барышни тихо его обожали.

– Дело в том, – сказал Александр Данилыч, – что Пушкин перед смертью очень сильно страдал. Я надеюсь, что никому из нас, – он оглядел бледных от зимнего света, прелестных своею застенчивой молодостью гимназисток, – надеюсь, что никому из нас не выпадет того физического страдания, через которое он прошел.

И кивнул на портрет великого поэта работы Тропинина, в стекле которого ритмично отражался падающий снег.

– Он был открытым человеком, – сказал Александр Данилыч, – гениальные люди открыты и просты душою. В ранней своей молодости он ходил к гадалке Александре Филипповне Киргхоф, которая нагадала ему смерть «от белой головы», поэтому он всегда опасался блондинов и был суеверен до крайности. В таком случае, зачем же ему было возвращаться обратно за шубой, когда он ехал на Черную речку? Ведь это плохая примета! Он вышел в бекеше и вдруг возвратился. Велел подать себе в кабинет большую шубу и, надевши ее, пошел пешком до извозчика. Зачем же? Ведь он не искал себе смерти. Я очень прошу вас не верить, что Пушкин искал себе смерти. Я думаю вот что: он просто решил не бояться. Высокие душою люди часто осознают, что жизни бояться не стоит. Грешно. И это, я думаю, есть вера в Бога.

Александр Данилыч вопросительно приподнял брови, но в классе была тишина.

– Да, это есть вера. Поэтому, когда вам будут говорить, что он не справился со своим африканским темпераментом, я очень прошу вас заткнуть себе уши.

Он потер лоб и снял очки. Без очков глаза его стали немного испуганными.

– Когда человек проходит через душевные страдания, он приобретает опыт смерти. А когда он проходит через страдания физические, то опыт жизни.

Перед ним сидели бледные от снежного света девушки с погрустневшими лицами. Они его не понимали.

– Представьте себе, – сказал Александр Данилыч и снова надел очки, – весь снег был пропитан кровью. Тянулся густой красный след от вмятины на снегу, которая образовалась, когда Пушкин упал, и до самых саней.

Гимназистки вздрогнули, у многих из них увлажнились ресницы.

– Его везли с Черной речки до Мойки не менее часа, в полусидячем положении, и часто останавливались, поскольку он все время терял сознание. Никаких приготовлений к тому, чтобы доставить раненого, не было произведено. Носилок и щита не было, поэтому поначалу Пушкина с раздробленным тазом просто волокли по снегу, как раненого зверя, затем положили на шинель. Но долго нести его в таком положении не смогли. Тогда секунданты и извозчики разобрали забор из тонких жердей и подогнали сани.

Александр Данилыч тяжело вздохнул и еле заметно всхлипнул, как это иногда случалось с ним от сильного волнения. Гимназистки под партами сжали руки на коленях.

– Он сильно страдал, – продолжал Александр Данилыч, нисколько не заботясь о том, что школьный урок превращается в проповедь. – Сохранилось официальное донесение о дуэли, и я вам его прочитаю: «Полицией узнано, что вчера в пятом часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского Ее Величества полка Геккерном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навывлет и получил контузию в брюхо. Господин Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством господином лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни...»

Барышни переживали не столько за Пушкина, раненого в брюхо, что было давно, и он не испытывал больше ни боли, ни страха, сколько за самого Александра Данилыча с его темно-рыжей кудрявой бородкой и испуганными глазами.

– Но дело совсем не в стихах! – таким тоном, словно с ним кто-то спорил, сказал Александр Данилыч. – Литература есть не что иное, как верная догадка о жизни. Вы можете и вовсе забыть о стихах! Но я бы просил вас запомнить *страдания*...

Если бы залетела в натопленную классную комнату – в гимназии Алферовой не экономили на дровах – чудом выжившая в суровое время года пушистая, черная с золотом муха и сладко бы стала жужжать и кружиться, то всякий услышал бы это жужжанье: такая была тишина.

– Хотел вам еще один портрет показать, – вздохнул Александр Данилыч, доставая из своего потрепанного портфеля небольшой холст без рамки. – Я заказал копию, а оригинал поступил в музей Александровского лицея лет двадцать назад, может, даже и больше. Подписано странно: «И. Л.». Считается, что живописцем был некто Линева Иван Лонгинович.

На темном холсте изображался Пушкин со взглядом страдальческим и обреченным, которым он видел, как всё это будет: и снег, пропитавшийся красною кровью, и тяжелое дыхание секундантов, которые затаскивали его на мерзлую шинель, а кровь заливала их руки, и бешеные глаза лошади, рванувшейся в сторону, когда его стали усаживать в сани и шубу, намокшую кровью, набросили на ноги...

* * *

Давали прекрасную оперу Глинки «Руслан и Людмила». Что может быть лучше театра, Большого театра, когда всё завалено снегом, и черное небо чудесно мерцает, и все эти слабые дымные звезды, наверное, знают какую-то тайну, но всё на другом языке, не на нашем... Что может быть лучше театра с его бархатными ложами, внутри которых белеют открытые спины с угловато выступающими лопатками, вспыхивает изредка маленький перламутровый

бинокль, поднесенный к глазам, или особенно крупное драгоценное украшение на вытянутой, как у лебедя, шее? А запах в фойе шоколада Сушар? А запах мороза, врывающегося с улицы в открытую лакеем дверь, если какой-нибудь особенно нетерпеливый зритель вдруг покидает представление и устремляется в темноту? Пахнёт снежной пылью, и дверь затворится. И нет человека, растаял.

Татьяне Лотосовой, молодой, только окончившей гимназию барышне, было немного неловко оказаться в театре одной, без подруги, которая, будто назло, заболела и кресло которой теперь пустовало. Но постепенно она освоилась, поправила косу с черным бантом и стала внимательно следить за оперой. Когда во втором акте на сцене появилась огромная голова и начала дуть на витязя с такой силой, что волосы женщин, сидящих в первых рядах партера, слегка разлетелись, Татьяна Лотосова почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Она скосила глаза. Между нею и незнакомым господином с открытым высоким лбом и мелкими, как у ягненка, кудряшками над ним стояло пустое тяжелое кресло. На левой ручке кресла почти невесомо лежал девически-острый локоть Татьяны Лотосовой, на правой – рука господина с худыми и длинными пальцами. Он заметил, что она перехватила его взгляд, и вдруг улыбнулся, спокойно и вежливо. Она растерялась сначала, но тут же подумала, что если тебе улыбается сосед, с которым вы вместе слушаете оперу, отвернуться от него, изобразив удивление, есть верх неприличия, ибо ничто не сближает незнакомых людей так сильно, как музыка. И Таня сама улыбнулась соседу – с испуганной робостью, но улыбнулась. Когда полногрудая, пышно-волосая, в больших жемчугах и рубинах Людмила допела всю оперу вместе с Русланом и с шумом, похожим на шум океана, задвинулся занавес, незнакомый господин, похожий немного на Пушкина с портрета живописца Линева, пересел на пустое кресло рядом с Таней и что-то спросил у нее. Вокруг громко хлопали, трещали веерами, переговаривались, и Таня его не расслышала. Она покраснела почти до слез.

– Прекрасная опера! – близко наклоняясь к ней, сказал он. – Давно так прекрасно не пели!

– Да, – хрипло от волнения ответила она. – Мне тоже понравилось.

Вместе они вышли в фойе, вместе отразились в большом и тоже как будто взволнованном зеркале и, наконец, когда Таня Лотосова продела руки в узкую, с белыми хвостиками, муфту, а господин, не отстающий от нее ни на шаг, надел теплое пальто с меховым воротником, они вместе вышли из театра.

Выталкивая колкое от холода дыхание, незаметно дошли до Плющихи, и меховой воротник на пальто господина – как было положено – засеребрился сквозящей морозною пылью. Таня узнала, что нового знакомого ее зовут Александром Сергеевичем Веденяпиным, он служит врачом в психиатрической лечебнице Алексева, имеет сына, чуть помоложе, чем Таня, и по роду своей деятельности нередко сталкивается с молодыми людьми, решившими по той или иной причине добровольно уйти из жизни. Почему Александр Сергеевич вдруг начал посвящать ее в подробности своей медицинской практики, она догадалась не сразу, но слушала с очень большим интересом, несколько не меньшим, чем оперу Глинки. Александр Сергеевич объяснил ей, что если родственникам или друзьям удастся спасти такого молодого человека, вынув его из петли или ухватив за полу пальто, когда он останавливается на самом краю обрыва, желая шагнуть и погибнуть в пучине, – то роль Александра Сергеевича не заключается только в том, чтобы напичкать спасенного порошками и пилюлями, а в том, чтобы, поговорив с ним наедине, раскрыть осторожно смятенную душу, как какой-нибудь скользко-загорелый, с острыми ребрами и большими зубами островитянин, нырнув глубоко в океан, раскрывает опутанную водорослями почерневшую раковину в надежде увидеть жемчужину.

Александр Сергеевич относился к своим обязанностям ответственно и в первый же вечер знакомства признался Тане, что ни опыт его грустной, хотя и весьма однообразной работы, ни долгие годы одних и тех же разговоров не убили в нем сострадания к безумцам, попадаю-

щим в городскую лечебницу Алексеева, и потому он всякий раз с любопытством и добротой выслушивает сидящего перед ним на казенной койке пациента. Хотя – если честно признаться – хорошего тут не услышишь, одна чепуха и расстройство рассудка.

Восемнадцать лет назад, когда он только начинал свою практику, в больницу была на извозчике доставлена молодая девушка, отравившаяся спичками.

– Я увидел ее, – сказал Александр Сергеевич Веденяпин, и снежный сгусток, сбитый с дерева порывом ветра, опустился на его плечо, подобно убитому голубю, – и... Этого не скажешь словами! Вот говорят, что можно полюбить с первого взгляда. Это чепуха. Можно другое: потерять себя. Вот, скажем, ты жил, дышал, бегал, занимался своими делами, и вдруг тебя как будто схватили за руку. Стой и смотри. А всё остальное неважно. Вот так и со мной: я стоял и смотрел. Она спала, бледная, губы запеклись, руки – тоненькие-тоненькие, а сколько при этом детской свежести, сколько беззащитности было в ней! И жилка на шее. Я на какую-то секунду вообще перестал различать всё остальное, только эту синюю жилку...

Он замолчал и вытер лоб под шапкой.

– Не скучно вам? Вы не замерзли?

Она затрясла головой.

– А снегу-то сколько! – пробормотал Александр Сергеевич. – Вам нравится снег?

– Мне – снег? Нет, не очень. А что было дальше?

Александр Сергеевич вдруг весь осветился вспыхнувшей улыбкой.

– Через неделю я предложил ей свою руку. У нее незадолго до этого умер отец, и она была влюблена в молодого человека, который довел ее до попытки самоубийства. У них были отношения, и ей показалось, что она беременна. А когда она сказала ему об этом, он ответил, что может найти хорошего доктора, чтобы тот освободил ее от плода. Тогда она решила отравиться, но ее вовремя спасли.

– Если она влюблена была в другого, так как же она вышла за вас? – испуганно спросила Таня, оторопев от всех этих произнесенных им подробностей.

– О, это прекрасный вопрос! Не в бровь, а вот именно в глаз! Почему она вышла за меня? Потому что я умолял ее об этом. Многие считают, что после занятий в анатомическом театре все романтические призраки улечиваются, но это не так, они ошибаются: со мной, во всяком случае, этого не случилось. Я был и, боюсь, остался законченным романтическим идиотом. А вот приятель мой – тот действительно перестал даже смотреть на женщин после того, как мы произвели в морге несколько первых резекций. В каждой хорошенькой барышне ему начали мерещиться будущие покойницы. Вы спрашиваете, почему она согласилась? А как же ей было не согласиться? Любовник ее исчез, курс она кончила, деньги, которые оставил отец, оказались ничтожными. И тут появляюсь я. Молодой врач, с неплохой уже практикой, влюбленный к тому же без памяти. Рыцарь, короче. Что ж было не выйти?

– Она совсем-совсем не любила вас? – сильно покраснев в темноте, спросила Таня.

– Н-н-не знаю... До самой свадьбы она не разрешала мне даже поцеловать себя, только руку... И то как-то с болью, как будто насильно...

Тут Александр Сергеевич вспомнил, что разговаривает с молодой девушкой, и осекся. У Тани, несмотря на холод, горело лицо так, как это бывало только после долгого катания на коньках под громкие вальсы закоченевшего оркестра.

– Ну, что говорить! Через полтора года у нас родился сын, и она, несмотря на свою нервность и непомерное воображение, оказалась хорошей, заботливой, хотя, к сожалению, слишком заботливой матерью.

– Что значит – слишком?

– Она постоянно боялась. Всякий раз, когда мы уходили в гости или в театр, становилась сама не своя, подъезжая обратно к дому. Ей все время казалось, что в наше отсутствие с ребенком должно было произойти несчастье. Она совершенно забывала о себе, когда он,

например, заболел, и могла встретить доктора в ужасном, растерзанном виде... Успокоить ее было почти невозможно. Но главное – ревность. С самого первого дня она начала ревновать сына ко мне, и, чем больше он подрастал, тем ужаснее становилась эта ревность. Я всё время проводил в больнице, даже по ночам меня таскали к больным, и сын, для которого почти не оставалось времени, очень радовался, когда я урывал минутку, чтобы поиграть с ним. А у жены началась какая-то прямо мания, что я отбираю у нее ребенка и даже настраиваю его против нее. Ему было, кажется, одиннадцать или двенадцать лет, когда я взял его с собой в поездку по Волге. Собралось несколько моих коллег, и мы отправились. Заняло это неделю, если не меньше. На следующий день после нашего возвращения жена закатила мне дикую сцену. Она кричала, что Васю нельзя узнать, он грубит, не дает прикоснуться к себе, обнять, и всё это сделано специально мной, и вся поездка была придумана только для того, чтобы отвратить его от матери.

Александр Сергеевич опять вдруг замолчал.

– Замучил я вас, – прошептал он, близко наклоняясь к ней и всматриваясь в ее лицо.

– Нет, что вы! – сказала она.

– Конечно, замучил. Потерпите немножко, история не особенно длинная. С прошлого лета в нашем доме стало просто нечем дышать. Она следила за Васей, следила за нами обоими, выкрала даже Васин дневник, потом, правда, очень сама переживала, проплакала несколько дней.

– Бедная! – вздохнула Таня.

– О, да! Кто же спорит! В конце концов, она потребовала, чтобы я снял ей квартиру, куда она намеревалась перевезти Васю и спасти его от моего ужасного влияния. Страшный это был разговор... Сначала она кричала, нападала на меня, потом стала упрашивать, упала на колени... Я, разумеется, отказал ей решительно и предложил ехать за границу лечиться... Но тут выяснилось еще одно грустное обстоятельство...

Он снял перчатку и стряхнул с плеча снег. Таня почти перестала дышать.

– Выяснилось, что она и в самом деле больна, тяжело больна. Она и раньше уже кашляла, но тут ей стало совсем плохо. Внезапно похудела так, что узнать нельзя. Я пригласил своего коллегу, замечательного диагноста. Он установил у нее рак правого легкого. Запущенная опухоль, оперировать поздно, и жить ей осталось недолго.

– О господи! Что же вы сделали?

– Я пообещал, что сниму ей квартиру, но с одним условием... Не знаю, может быть, именно это и было моей ошибкой... Какие условия можно ставить умирающему человеку? А я потребовал, чтобы она немедленно ехала лечиться в Германию и находилась там до полного выздоровления.

– Но вы же сказали, что она не может выздороветь!

– Я обманул ее. Мне важно одно: чтобы она уехала.

– Но как же? Ведь это жестоко?

Александр Сергеевич опять улыбнулся сквозь снег.

– Жестоко! А что это значит – жестоко?

– Это когда кому-то больно, а ты виноват, – пролепетала Таня.

– А всем всегда больно, и все виноваты, – оборвал ее Александр Сергеевич, но тут же опять улыбнулся. – До этих вещей дорастают, поверьте.

– Неправда! Что это вы такое говорите!

– Ну, дай бог, чтобы я ошибался, – коротко согласился он.

– Где она сейчас, ваша жена? Она еще жива?

– Жива, разумеется. Я снял ей квартиру в Мерзляковском переулке. Василий наотрез отказался жить с ней. Я просил ее, чтобы она уехала не позднее начала января. Она до сих пор

не сказала мне ни «да», ни «нет». Не знаю, как долго всё это продлится... Хотя мне и стыдно того, что я думаю об этом... Ну, как объяснить вам? Бессердечно, наверное...

– Вы что, не встречаетесь с нею?

– Теперь она уже и сама не хочет видеть ни меня, ни его. Сын позвонил ей несколько дней назад по моему настоянию. Она кричала, что ненавидит нас обоих, что я всегда был чудовищем и мне удалось вырастить такое же чудовище из него... После этого он несколько ночей не мог спать...

Таня прижала ладони к горячим щекам.

– Прошу об одном: чтобы Господь дал ей умереть спокойно, – сказал Александр Сергеевич.

– Вам жалко ее?

Он удивленно приподнял брови:

– Иногда смерть есть не только единственный, но и самый лучший выход.

– Неправда! – возразила Таня. – Как можно сказать за кого-то другого, что ему лучше умереть? Когда он не хочет?

– Ну, это вопрос философский... – Он опять стряхнул снег, не глядя на нее.

Она притихла.

– А можно мне будет увидеть вас завтра? – вдруг спросил он после паузы.

Таня растерялась.

– Не бойтесь меня, – усмехнулся Александр Сергеевич, – у меня и в мыслях нет обидеть вас.

– Мне кажется, это неловко, – с заминкой сказала она. – Как это – увидеть?

– В кофейне Филиппова, – просто сказал Александр Сергеевич. – Вы любите горячий шоколад? Я очень люблю. Особенно когда на улице зима. А чтобы вам было спокойнее, я приведу своего Васю. Он милый парнишка, дичится немного...

Они стояли перед ее домом. В ватной темноте одна за другой гасли лампы. Таня наконец спохватилась, что опера давно закончилась и отец должен волноваться.

Ночью она долго не могла заснуть, всё мешало ей: и влажное бормотание няни, спавшей в соседней маленькой комнате, и шаги отца, которыми он отмерял расстояние от двери до окна, и даже бесшумный, сияющий снег, засыпавший тихую улицу. История, рассказанная только что Александром Сергеевичем, вызывала у нее животный страх.

* * *

У матери Тани давно была другая семья и другая дочка, которую Таня ни разу не видела. Из тех осторожных объяснений, которые несколько лет назад предложил отец, Таня поняла, что мать вышла за ее отца с горя, любя другого человека, который не захотел жениться на ней против воли своих очень упрямых родителей. Но через три года упрямые родители умерли один за другим, и тут нерадивый влюбленный явился к ним в дом, на Плющиху. Он прошел к отцу, заперся с ним в его кабинете, потом прислуга и няня слышали, как он рыдал там, за закрытой дверью, и отец терпеливо просил его успокоиться, а он всё рыдал, объясняя свое невыносимое положение, признаваясь, что Танину мать любит очень давно и эта любовь их взаимна, поэтому просит простить, дать развод, но тут он совсем задышался, пил воду и кашлял.

Развод состоялся, но Таня осталась с отцом. Это было условием.

Лет в тринадцать какой-то бес словно обуял ее: она стала приставать к отцу, требуя от него объяснений, почему мать ушла и бросила их, задавала нелепые вопросы, мучилась сама и мучила отца, который повторял одно и то же: всё правильно, всё произошло так, как нужно, ведь брак без любви вызывает болезни, и он это знал еще раньше, когда был простым медицинским студентом.

– Но почему она бросила *меня*? *Меня-то* как она могла бросить?

– Но как же ей было уйти и одновременно остаться с тобой? – Отец так сильно морщился, что на его лбу собирались розовые бульдожьих складки. – Ты после поймешь, когда вырастешь.

Она почувствовала, что ничего не добьется от него, и перестала спрашивать. И перестала думать о матери, но иногда на нее наплывало какое-то не воспоминание даже, но запах цветочных духов, или она вдруг чувствовала в руке что-то гладкое, круглое и вспоминала, что это, должно быть, та пуговица, в которую она, уже лежа в кровати и засыпая, крепко вцепилась однажды, чтобы не дать матери уйти, и в конце концов оторвала ее вместе с куском ткани.

Еще вспоминался другой эпизод.

Отец снимал дачу в Царицыне, где Таня жила с няней и с гувернанткой. Он сам приезжал к ним в четверг поздно вечером, а днем в воскресенье опять уезжал. Стояло прекрасное время – середина июля, – когда некто Коля Бабаев, соседский ребенок, вдруг умер. Он умер в субботу, а в четверг, за два дня до этого, к ним прибежала прислуга с той дачи, где жили Бабаевы, и отец, только что с поезда, схватил свой докторский чемоданчик, надкусил яблоко, но тут же и бросил его прямо на пол. А няня и Таня смотрели с балкона, как он торопливо бежит по песку, мокрому от недавнего дождя и сильно хрустящему под его тяжелыми шагами.

Вернулся он в пятницу после полудня, когда оглушительно пахло жасмином, а няня варила малину и косынкой отмахивалась от ос, – вернулся измученным, но оживленным, как будто пытаясь их всех обмануть, уныло взглянул в таз с кипящим вареньем, сказал, что он сыт, и уснул на террасе. Вечером снова прибежала прислуга с Колиной дачи, отец моментально вскочил и, умывшись, ушел со своим чемоданчиком.

Тогда Таня начала с ненавистью думать об этом ушастом и вежливом Коле в его накрахмаленной белой сорочке, вспомнила, как они ловили стрекоз на болоте и он всё время промахивался, нелепо хлопал сачком мимо прозрачной стрекозы, которая со своим помертвевшим от страха лицом сперва повисала над их головами, не веря свободе и празднику жизни, а после взмывала наверх с дикой силой... Этого жалкого восьмилетнего Колю Таня страстно проненавидела всю ночь, ревнуя отца, который возился с чужим и ушастым, как будто бы рядом и не было Тани, но утром заснула так крепко и сладко, что не услышала ни того, как вернулся отец, как пил с няней чай на террасе, а няня кряхтела и плакала тихо.

Колю отпевали в деревенской церкви. В разгаре цветущего лета с его этим зноем и светом, росой в траве, ночными зарницами в небе, мокрыми лепестками, засыпавшими садовую скамейку так густо, что издали было похоже на облако, в разгаре цветущего сонного лета внесли на руках – было много народу, и пахло свечами, и многие плакали, – внесли на руках желтый новенький ящик, поставили его на возвышение, и Таня, которую отец крепко держал за плечо, увидела, как с громким стуком на ящик упала вся черная – в таком неопрятном и жеваном платье, как будто она в нем спала целый месяц, – лохматая старая дама...

Через два дня Таня и сама заболела scarlatinой, начала гореть, задыхаться, во сне ей казалось, что с Колей они снова ловят стрекоз и Коля зачем-то всё время смеется. Ненависть опять охватывала ее, Таня сбрасывала с себя одеяло, плакала, кричала, что Коля живой, он обманщик и просто лежит сейчас в новеньком ящике...

На третий день температура спала, и Таня увидела спальню, столб светящейся солнечной пыли над ковром, отца, взъерошенного, в раскрытой на груди рубашке, и рядом с ним незнакомую женщину. У женщины были темные, очень густые волосы, просто зачесанные назад, и нежная желтизна под глазами, от которой она казалась особенно красивой.

– Проснулась, – бодро сказал отец и, наклонившись, пощупал Тане лоб, – теперь всё в порядке.

Женщина стояла у окна, спиной к очень яркому саду, и ветка зеленой сияющей вишни как будто росла у нее из затылка.

– Узнала меня? – спросила она, сделав шаг к кровати, и наклонилась так же, как отец, приглаживая Танины вспотевшие волосы.

Это была мать, которую она не видела бог знает сколько времени, потому что мать уехала за границу, и там у нее родилась слабая и чем-то больная девочка, и девочку стали лечить на курорте, поэтому мать не вернулась в Россию. Изредка от нее приходили письма, которые отец, насупившись, читал вслух неестественным и громким голосом. Мать называла ее «Татушей» и всё обещала, что скоро приедет.

Теперь, когда она наклонилась над Таней, оказалось, что мать существует так же ясно, как все остальные вокруг: отец, птицы, няня. Она приоткрыла рот, и Таня вдруг вспомнила, что между передними зубами у матери была узкая полоска немного припухшей и розовой кожи. Она и сейчас там была. Тогда она выскользнула из-под материнской руки, оттолкнула ее и бросилась бежать. Ее не успели поймать. Скатившись по лестнице, босая, с искаженным от громкого плача красным лицом, Таня пересекла террасу и, не угадав, что перед нею закрытая стеклянная дверь, налетела на нее. Боли не чувствовалось, но щипало и жгло, когда отец, морщась от сострадания, смазывал йодом ее очень сильно разрезанный лоб, и всё было густо испачкано кровью, особенно волосы. Остались два крошечных шрама: один на скуле и другой – рядом с бровью. Они ее вовсе не портили.

* * *

В кофейне Филиппова пахло свежим хлебом, а пол был в коричневых от растаявшего снега лужах, похожих по цвету на пролитый кофе. С сильно колотящимся сердцем, стараясь казаться независимой и взрослой, она села за мраморный столик и принялась ждать. Вошла очень худая большеглазая дама с требовательным и жалким лицом. Потом, разруганные, переговариваясь деревянными от холода голосами, громко хлопнув дверью, ввалились два гимназиста, потом молоденькая няня с закутанным ребенком в коляске, которая приложила большие красные руки к кипевшему на стойке самовару и тут же со смехом отдернула их. Тане надоело ждать, и она встала, потуже завязала вязаный шарф под подбородком и, чувствуя себя оскорбленной, пошла к выходу. На пороге они столкнулись. Александр Сергеевич смешно отпрыгнул от нее, придерживая тяжелую дверь.

– Прошу простить, – заговорил он, сверкая знакомой улыбкой, от которой у Тани вдруг сжалось внутри живота и в глазах потемнело. – Извозчик попался не самый проворный.

Рядом с Александром Сергеевичем стоял худой и нескладный молодой человек лет шестнадцати, если не меньше. Кирпичный румянец уходил под его рыжие мелкие кудри, которые на висках были ярко-красными, как будто румянец пропитал их изнутри, как вода пропитывает мох на лесной поляне.

– Вот, Татьяна Антоновна, прошу любить и жаловать: Василий, мой сын и наследник.

Василий кивнул ей небрежно, и Таня совсем потерялась. Сели за столик, не глядя друг на друга. Александр Сергеевич, придвигая стул, ненароком дотронулся до ее локтя. Им принесли три чашки горячего шоколада, от которого поднимался волнистый, похожий на тюлевый, пар. Няня с закутанным спящим ребенком неторопливо доедала калач и дула на чай, подкладывая в него кусочки колотого сахара. Василий сидел неподвижно и прямо.

– Вы в какой гимназии учитесь? – спросила Таня.

– Сейчас я перешел в гимназию Ямбурга, – темно покраснев, с надменностью растягивая слова, ответил Василий и вытер крупный пот, выступивший на лбу. – Там и гуманитарные, и естественные предметы очень хорошо преподаются.

Каждое слово доставляло ему страдание. В замешательстве Таня начала быстро пить шоколад, но он обжигал язык, и она отодвинула чашку. Хотела подуть и смутилась, не стала. Александр Сергеевич вдруг начал рассказывать, какая замечательная у них лечебница, назван-

ная в честь своего основателя, бывшего губернатора Москвы Алексева, который особо жалел сумасшедших и не хотел, чтобы их по обычаям старого времени держали в смиренных рубашках и лили им воду на бритые головы. Просвещенный гуманист, Алексеев собрал богатое московское купечество на обед, описал, каким оскорблениям незаслуженно подвергаются тяжело больные люди, и попросил помочь ему в постройке хорошей современной больницы. Тогда, заскрипев стулом, поднялся купец Ермаков, огромный, налитый тяжелой купеческой кровью, однако в прекрасной английской одежде, сощурил калмыцкие желтые глаза и сказал так: «Поклонишься в пол здесь, на людях, и дам миллион». А не успел он закончить, как белый, хуже зубного порошка, Алексеев вышел из-за стола, сорвал с себя хрустящую салфетку, которую заложил за воротничок, приступая к обеду, и низко поклонился купцу Ермакову. И тот дал ему миллион.

– А что потом было? – спросила Таня, стараясь не смотреть на Василия, который краснел всё сильнее.

– А то, что обычно бывает, – нервно дернув щекой, ответил Александр Сергеевич. – Построили лечебницу, закупили новейшие ванны, постельное белье, халаты для больных, шкафчики. Лечили по всем требованиям цивилизованного мира. Никаких побоев. Старались подолгу беседовать с пациентами, ловили, так сказать, искорку неомраченного сознания. Сам Алексеев очень этим увлекся, пропадал в клинике днями и ночами, пока его, бедного, не зарезали.

– Как так зарезали? – вскрикнула она.

– Ну, просто, как курицу, – усмехнулся он. – Сидел в сумерках с одним больным, на которого возлагал особые надежды, увещевал. А тот схватил бритву и изо всей силы полоснул его по горлу. Весь сумасшедший дом просился присутствовать на отпевании, и в клинике долго был траур.

– Почему вы сказали, что так всегда бывает? – насупилась Таня.

– А как же иначе? – засмеялся он, но не успел договорить.

Из дамской комнаты к их столику быстро подходила та самая, очень худая, с разгневанным и жалким лицом женщина, которая пришла в кофейню почти одновременно с Таней. У женщины горели щеки, в уголках губ запеклась пена.

– Ах, вот они где! – сказала она, так сильно выкатив блестящие глаза, что всё остальное на ее истощенном лице стало почти незаметным. – Нашел себе новую куклу?

Василий вскочил и, застонав, словно у него разом заболели все зубы, выбежал из кофейни. Няня, хлопая своими растаявшими ресницами, испуганно открыла рот и начала быстро качать коляску.

– Я знала, что всё этим кончится! Знала! Но я не позволю! Клянусь, завтра я подниму все газеты!

– Какие газеты? – побледнев так, что на кончике его прямого носа стали заметны редкие черные точки, спросил Александр Сергеевич. – Ты, Нина, себя не слышишь!

– Я слышу! Ты хочешь жениться – женись! Только Васю не трогай!

– А, это уже что-то новое, – буркнул Александр Сергеевич. – Пойдемте, Татьяна Антонова, здесь нам не дадут поговорить спокойно.

Тане хотелось провалиться сквозь землю. Александр Сергеевич осторожно взял ее под руку. Набросив на голову шарф, в незастегнутом пальто, она прошла мимо жены Веденькина, боясь случайно дотронуться до нее, и перевела дыхание, только оказавшись за порогом кофейни.

Лицо Александра Сергеевича было несчастным и постаревшим.

– Ну, видите, видите? Что я мог сделать?

– Мне всё-таки лучше уйти, – пробормотала Таня, сгорая от стыда и неловкости.

– Вам гадко здесь с нами! – Александр Сергеевич наклонился, стараясь поймать ее взгляд. – Еще бы не гадко! Но это продлится недолго, ведь вы же всё видели...

– Как вам не стыдно! – расплакавшись, закричала Таня. – Вы ждете ее смерти? Ах, как вам не стыдно!

– Бывает, что смерть-то и есть лучший выход...

– Вы это вчера говорили! Вы говорите ужасные вещи, я даже и слушать не стану!

– Я буду молчать, если вам это лучше.

– Оставьте меня, пожалуйста! – взмолилась Таня. – Я не знаю, как отвечать вам, подождите... Даю слово, что я сама позвоню вам.

– Даете мне слово?

– Да, я позвоню.

Нужно было, чтобы он как можно быстрее отпустил ее.

За обедом отец молча протянул ей распечатанное письмо.

– Что это? Мне?

– Твоя мама вернулась в Москву.

– Как – мама вернулась?

– Соскучилась, – с ядом в голосе ответил отец.

– А я не хочу! – зло и возбужденно заговорила Таня, отталкивая от себя тарелку и расплескивая суп по скатерти. – Я не хочу ее видеть! Зачем она мне?

– Она родила тебя, – негромко сказал отец.

– Никто не просил! Она и потом тоже вроде рожала! Ведь там еще девочка, верно?

– Девочка-то уж совсем ни при чем... Она тебе ничего плохого не сделала.

Тут только Таня заметила, что письмо распечатано.

– Ты что? Ты прочел?

– Бог знает, что она могла написать тебе. Я ей не слишком доверяю.

«Татуша! – писала мать. – Понимаю, как тебе больно вспоминать обо мне, как сильно я виновата перед тобой. Но теперь, когда ты становишься взрослой, тебе, может быть, будет легче понять меня. Мы с Диной вернулись в Россию после двенадцати лет жизни в Европе. Это очень большой срок. Я много рассказывала ей о тебе, и она знает все смешные словечки, которые ты говорила, когда была маленькой, и смеется твоим детским шалостям».

Сквозь злые горячие слезы Таня удивленно посмотрела на отца:

– Каким моим шалостям она смеется?

– Были, наверное, какие-то шалости. Ей теперь кажется, что и она, как любая мать, должна помнить, каким был ее ребенок в детстве... Чувствительный самообман.

– Не хочу! – Она бросила письмо на пол и изо всех сил сжала голову руками. – Одни сумасшедшие рядом!

– О чем ты? – нахмурился отец. – Какие рядом с тобой сумасшедшие?

Она прикусила язык.

– Красивая зима! – Отец посмотрел за окно, где голубовато и нежно сверкало. – Почему ты перестала ходить на каток?

Он всегда переводил разговор, когда ей нужно было отдышаться и сообразить, что к чему.

– Папа! – Таня всхлипнула. – Я не стала тебе рассказывать, потому что я не знала, как... Вчера меня проводил из театра один человек. Он доктор, работает в больнице... У него сын, гимназист. Еще и гимназии даже не кончил.

Отец еще больше нахмурился:

– Почему ты позволяешь незнакомому человеку провожать тебя из театра?

– Он рядом сидел, и мы с ним познакомились. Потом он пошел провожать. У него жена, которая больна и скоро умрет. Сегодня мы были в Филипповской, она ворвалась и устроила сцену. Он очень несчастный...

Слезы затопили ее, но они же оказались и той спасительной смазкой, которая помогала словам протискиваться сквозь горло.

– А ты здесь при чем? Какое тебе дело до чужого мужчины и его жены?

В том, как отец произнес слово «мужчина», сверкнула обозленность. Он резко встал и, обойдя стол, подошел к ней.

– Смотри на меня, я хочу видеть твои глаза.

Она подняла заплаканные глаза.

– Ты очень красивая молодая девушка, – твердо выговорил отец. – Ты росла без матери, а я не сумел подготовить тебя к жизни. Ты не понимаешь, что это значит, когда не старый еще мужчина, – опять он неприятно и обозленно надавил на это слово, – сколько, кстати, ему лет?

– Не знаю. Лет сорок, а может быть, больше...

Отец весь темно покраснел:

– Лет сорок! Тебе восемнадцать! Лет сорок! Ты не знаешь, что это значит, когда мужчина в театре знакомится с молоденькой девушкой, а потом провожает ее домой и рассказывает ей о своих драмах!

– А что это значит? – хрипло спросила она.

– Это значит, что в следующий раз он пригласит тебя в номера! Не думай, что в жизни одни только розы!

– А я и не думаю, – прошептала Таня. – Ты же сам говоришь, что я росла без матери.

Отец покраснел еще больше:

– Разве это я виноват в том, что ты росла без матери?

Таня вскочила. Теперь они стояли лицом к лицу, и оба тяжело дышали.

– Никто из вас не виноват! – закричала она, жалея отца и одновременно наслаждаясь его растерянностью. – Я не виновата в том, что вы сначала женились, а потом разженились! Я только знаю, что меня бросила мать, а теперь ты упрекаешь меня, что я пожалела кого-то, кого тоже бросила жена! А я ни на секунду не забывала, что моя мама сделала с нами! Со мной и с тобой! Помнишь, как мне однажды приснилось, что мы идем по лесу и снег вокруг? И кто-то лежит в этом снегу, совсем маленький, как ребенок. А потом мы наклоняемся и видим, что это мама. И ты говоришь: «Она заблудилась. Сейчас отнесем ее домой и согреем». Не помнишь?

Таня с размаху уткнулась в отцовскую шею, где между накрахмаленными отворотами воротничка перекатывалось адамово яблоко, которое было еще горячее ее собственного лица.

– Ну, хватит, – забормотал отец, целуя и приглаживая ее волосы. – Если этот господин позвонит, я попрошу его оставить тебя в покое. А с мамой я сам разберусь... Скажу, что тебе нужно время...

Опять она не могла заснуть. Мысли о матери перебивались мыслями об Александре Сергеевиче, потом о его сыне, который сбежал из кондитерской, потом она начинала представлять себе, какая у матери младшая дочка, но тут ее прожигали слезы и рот наполнялся соленой слюною.

* * *

Под утро она заснула и проснулась далеко за полдень.

– Папаша велел, чтоб тебя не будили, – шамкая сухими коричневыми губами, сказала нянька. – Вставай и иди хоть позавтракай, поздно. Уж скоро обедать.

На улице таяло, и оползший за утро сугроб напоминал огромную неуклюжую птицу, у которой одно крыло нагромодилось на другое.

– Весна, стало быть, – вздохнула нянька. – Вот как припечет, так и лету недолго! Глядишь, и согреемся. А то прям хоть плачь: сыпет, сыпет!

– Папа не сказал, когда придет?

Нянька глотнула чаю из стакана, обожглась и помахала ладонью перед раскрытым ртом.

– С мамашей сегодня встречаются, вот как, – не сразу ответила она. – Звонил ей с утра, сговорились. При мне дело было.

– Зачем? – ахнула Таня.

Няня развела тускло-красными, в мелкий горошек рукавами кофты, и ярко начищенный самовар повторил ее движение: раздвинулся медленно и покраснел.

– Ну, как? Ты сама-то подумай! Приехала мать в кои веки, а ты что? Метлою, что ль, гнать?

В дверь столовой засунулся дворник Алексей Ермолаич, розовый от холода, худенький и даже в тулупе похожий на кузнечика своими слишком длинными и слишком прямыми ногами. Он вежливо кашлянул.

– Там, это, цветы вам прислали, барышня.

К букету очень длинных, молочно-белых роз была приложена записка: «Еще раз прошу простить меня за вчерашнюю историю. Напоминаю о Вашем обещании и жду звонка. А.В.».

– Ты что, кавалера себе завела? – нахохлилась няня. – А папа что скажет?

– Нет, это знакомый, – вспыхнув, пробормотала она. – Тебя не касается!

Схватила букет, побежала к себе.

– Воды хоть налей! – крикнула ей вдогонку няня. – Цветочков-то жалко!

Таня сорвала серебряную бумагу с букета и бросила рассыпавшиеся цветы на кровать. Одна, самая большая роза оказалась наполовину раскрытой, красная сердцевина ее была испещрена черными точками.

Она подошла к зеркалу и приподняла руку. Рука тоже была белой, по-зимнему бескровной, худой, но крепкой, подмышка золотилась пушком, и там, внутри пушка, темнела родинка. На теле ее было много родинок, особенно на спине. На левой лопатке их было три, но маленьких, а одна, покрупнее, находилась на месте последнего шейного позвонка, и всякий раз, когда она наклоняла голову, казалось, что по ее шее скатывается черная лесная ягода.

Она не позвонила Александру Сергеевичу. Он должен был ждать. Он должен был ждать очень долго, потому что в ней проснулась сила, о которой раньше никто не подозревал. А всё эти розы. Как папа сказал? «Не думай, что в жизни одни только розы». Но папа ошибся. Он просто боится, чтобы она не сделала какую-нибудь глупость. Он вечно боится. Какая же глупость? Когда ей прислали *такие* цветы? Она вспомнила, как улыбается Александр Сергеевич Веденяпин, и ее бросило в жар.

Отец вернулся домой поздно, уставший, с сильной головной болью. Она решила не спрашивать больше о матери, а он не спросил, откуда взялись эти розы, которые своей райской красотой преобразили комнату. Отец на них бегло взглянул, слегка покраснел, но и только.

«Да он ведь всё понял!» – ужасаясь тому, что у нее появились секреты, подумала Таня.

* * *

Утром, идя на курсы, она нарочно замедляла шаги и все время оглядывалась: казалось, что Александр Сергеевич должен непременно попасться ей на пути. Она старалась идти особенно легко и, сколько могла, выгибала спину, как это делают танцовщицы, но вдруг чей-то голос, показавшийся знакомым, сказал прямо над ухом:

– Мадемуазель Лотосова!

Таня испуганно оглянулась. Перед ней, задыхаясь от быстрой ходьбы, стояла жена Александра Сергеевича в зимнем каракулевом жакете и шапочке, отороченной пушистым серым

мехом, с маленькой вуалеткой, которая все время плотно прилипала к лицу, так что Веденяпиной приходилось сдвигать ее в сторону оттопыренными губами.

– Простите меня, – тяжелым, растерзанным голосом заговорила Веденяпина. – Мне пришлось немножко последить за вами. Вчера проводила вас до самого дома, а вы ничего не заметили. Вы, ради всего святого, простите меня!

– Зачем?

– Пойдемте! – сверкнула глазами Веденяпина. – Вы ведь шли куда-то? Ну, вот и пойдете.

И обе пошли быстро, словно убегали от кого-то. Шелестящие от ветра верхушки сугробов вспыхнули розово-красным.

– Он вас не отпустит, – сказала Веденяпина. – Я вам прямо сейчас могу рассказать, как это всё будет.

– О ком вы? – прекрасно понимая, о ком она говорит, пробормотала Таня.

– У вас эти ямочки! – перебила ее Веденяпина и так же растерзанно-натужно засмеялась. – У вас ямочки на щеках, оказывается, не только когда вы улыбаетесь, но даже когда вы просто говорите! И дело всё в ямочках!

Таня со страхом смотрела на нее.

– Бойтесь? – Веденяпина перестала смеяться под своей прилипшей вуалеткой. – И правильно делаете. Он любит не всю женщину, понимаете меня? Он любит какую-нибудь одну черту в женщине. С ума начинает сходить. Вы думаете, отчего он в свое время женился на мне? Ему понравилось, что у меня на шее была какая-то тоненькая синенькая жилка! Кому рассказать, не поверят! Он взял и женился.

– А я здесь при чем?

– Я просто предупреждаю вас, чтобы вы не попались. – Веденяпина, оттопырив губы, сдвинула вуалетку. – Он лакомка. Увидел ваши ямочки и тут же почувствовал голод.

«Она сумасшедшая!» – быстро подумала Таня.

– Вы только не думайте, что я сумасшедшая, – усмехнулась Веденяпина. – Я всего этого сама очень долго не понимала. Да и что мы понимаем с нашими куриными мозгами? Читали вы графа Толстого? «Крейцерову сонату»?

Таня отрицательно покачала головой.

– Там многое – правда. Но муж мой пошел еще дальше. Уж лучше зарезать, чем так издеваться!

– А он издевался?

– Ох, да! – как-то даже весело, словно ей приятно вспоминать об этом, ответила Веденяпина. – Ведь срам какой, господи! И эти бог знает какие слова! И эти укусы везде! На всем теле!

– Зачем же вы это терпели? – боясь смотреть на Веденяпину, не удержалась Таня.

– А мне просто некуда было деваться. Он был моим мужем, законным, обвенчанным. На улицу разве сбежать? И что тогда дальше? Потом я привыкла. Я могла, скажем, приказать, чтобы он налил себе кофе в мой ботинок и выпил. И он наливал и не брезговал. Я могла сказать: «Пойди на двор, принеси снега». И он шел, в одном белье, даже не накинув пальто, и приносил. Мне тоже хотелось иногда его помучить. Прямо до боли какой-то. Хотелось смешного, ужасного. Но он всё равно был сильнее меня. Я всё принимала за чистую монету, а он играл со мной, как с котенком. Встану, бывало, липкая, вся в красных пятнах. Посмотрю утром в зеркало: «Ой, господи! Ктой-то?»

Она засмеялась.

– Он бил вас? – ужаснулась Таня.

– Не бил, а терзал. Это хуже гораздо.

– Зачем мне всё знать? – закричала Таня. – Зачем вы всё это рассказали?

– Да жалко мне вас! Очень жалко! Я увидела у Филиппова: сидит девочка, розовая, пушистая, как хризантема, брови нахмурила, волнуется. И вдруг – этот старый развратник. И сын рядом с ним, совершенный ягненок. Ах, боже мой! – Она резко побелела под своей вуалеткой. – Всё ямочки ваши!

– Довольно... – прошептала Таня. – Пустите меня, я пойду.

– Он, верно, сказал вам, что я умираю? Сказал ведь? Признайтесь!

Таня кивнула.

– Он всем говорит. Уж, поди, сколько заупокойных наказыывал! Торопится очень. А вы не верьте: больна я совсем неопасно. Он меня хочет за границу отправить, а я всё не еду. И я не поеду, пока он мне сына не даст.

– Так сын же не хочет...

– Да кто вам сказал-то? – возмутилась Веденяпина, и слезы наполнили ее глаза. – Он с Васей хитрит. Откуда же Васе понять?

– Не ходите за мной больше! – взмолилась Таня. – Кто вам позволил следить за мной?

Веденяпина усмехнулась презрительно:

– Не так у меня много времени осталось, чтобы следить за вами, мадемуазель Лотосова. Живу здесь поблизости, вот и столкнулись.

– Да это неправда!

– Прощайте! – растерзанно засмеялась Веденяпина и сморгнула слезы.

Краешек вуалетки забился ей в рот от сильно подувшего снежного ветра.

* * *

С этого дня прошло несколько недель. Александр Сергеевич больше не посылал Тане цветов, не звонил. Если бы не розы, которые все еще стояли в гостиной, засохшие, с опущенными головами, как будто знали за собой тяжелую вину, то можно бы было подумать, что ничего и не было: ни оперы Глинки, ни шоколадного запаха в красном бархатном фойе, ни того, как они с Александром Сергеевичем шли по уснувшей Плющихе, и он близко наклонился к самому ее лицу, смотрел очень странно и вдруг улыбался. Теперь по утрам начиналась тоска.

Тоска наполняла дом, и во всем, на чем случайно останавливался Танин взгляд, от голубиного помета на промороженном полене, принесенном дворником из сарая в гостиную, до вспышки заката на талом снегу, была сильная, но тихая тоска, а любая ерунда, вроде резкого скрипа саней на повороте или глухого хлопка форточки, вызывала слезы. Чем больше времени проходило с их встречи в кондитерской, тем острее вспоминалось его лицо и, главное, эта насквозь прожигающая, яркая улыбка. Она изо всех сил старалась не думать о нем, но всякий раз, когда чья-то высокая мужская фигура в длинном пальто мелькала перед ее глазами на улице, она останавливалась на ходу и невольно зажимала рукою то место между горлом и сердцем, которое сразу начинало гореть и колотиться внутри, как будто под кожу запрятали птицу.

Прошел февраль, март, наступил апрель – земля стала теплой, пахучей и пестрой, – и вдруг рано утром, десятого, лежа в постели и медленно освобождаясь от только что приснившейся чепухи, где основное место занимала темная, в павлиньих разводах вода, Таня вдруг ощутила себя свободной. Она не ждала больше, что он позвонит или встретится ей на улице. В душе как будто отпустили тугую резинку, и Александр Сергеевич вышел из памяти так, как выходят из комнаты. С уходом его всё вернулось: подружки, уроки, часы у портнихи, театр, концерты... А дни становились длиннее, светлее. Муфта была давно пересыпана нафталином и спрятана няней в коричневую коробку из-под туфель, днем в доме становилось солнечно, жарко, и пьяный от радости воздух влетал с легким стуком в открытые форточки.

Отец вдруг сказал за обедом, что завтра придет ее мать. Причем не одна, а с сестрой. Таня опустила глаза так низко, что закружилась голова.

– Их нужно принять, – сдержанно пояснил отец. – Посуди сама: она подумает, что я не передал тебе ее просьбу.

«Какая тебе разница, что она подумает?» – сверкнуло в Таниной голове, но она посмотрела на ставшее жалким отцовское лицо и ничего не сказала.

* * *

Назавтра вечером раздался звонок. Отец высунулся из кабинета, почему-то вытирая пальцы полотенцем, и громко сказал на весь дом:

– А вот и они!

И пошел открывать.

Таня скользнула в его кабинет, быстро выключила лампу, села в кресло и сквозь дверную щель принялась наблюдать. Вслед за взволнованным и неестественно жестикулирующим отцом в гостиную вошла мать, слегка пополнившая за эти годы, но все еще очень красивая, со своими блестящими сизо-голубыми глазами, которые она, как фамильную драгоценность, передала обеим дочерям. Таня тотчас узнала собственные глаза на лице у размашисто вошедшей за матерью девочки, которая от неловкости сделала слишком широкий шаг, запнулась, остановилась и ярко вспыхнула. Краска, как тень покрывшая ее лицо, была знакома до отращения: Таня и сама вспыхивала точно так же. На девочке были белые чулки и клетчатое широкое пальто, которое выдавало в ней иностранку.

– Ну, где же... – начала мать своим сильным, переливающимся голосом, который Таня сразу вспомнила и ужаснулась, что даже голос у матери не изменился. – Ну, где же...

Тогда она вскочила и, шурясь, вышла к ним из темноты в ярко освещенную гостиную. Мать быстро всплеснула руками.

– Большая! – шепнула она. – Какая я дура, о господи! Я думала, что ты так и осталась маленькой и кудрявой.

– Да, кудри состригли! – скороговоркой и очень громко объяснил отец. – Состригли, как с пуделя. У нее инфлуэнца была два года назад – помнишь, я писал? – в жару провалялась весь месяц, потом было не расчесать. Обстригли всю голову. Зато теперь выросли – видишь? – нормальные косы.

Мать усмехнулась и тихо обняла ее. Таня продолжала стоять как стояла, она не сделала ни одного движения, не сказала ни слова, только отвернулась, когда мать попыталась поцеловать ее, и от этого душистый материнский поцелуй пришелся не в щеку, а в ухо. Отец громко кашлянул.

– Сестра твоя, Дина, – почти с угрозой произнес он, стыдясь и, видимо, сильно страдая за Таню. – Я рад, что теперь вы знакомы.

Дина быстро сняла красные кожаные перчатки и решительно, но неловко, ладонью вверх, протянула руку. Рука была маленькой, крепкой, горячее. Таня так же неловко пожала ее. Мать и отец переглянулись, и на красивом лице матери появилось тоскливое беспокойство.

– Скажи няне, чтобы поставили самовар, – попросил отец. – Сейчас будем чай пить.

Боясь встретиться глазами с матерью, Таня поспешно вышла из комнаты и долго стояла на кухне, борясь с желанием убежать на улицу через черный ход. Когда она вернулась, мать и отец сидели рядом на диване, а Дина в своем коротком клетчатом пальто стояла у окна спиной к ним и смотрела на улицу.

– Так что: ревматизм прошел окончательно? – уже другим, обычным, успокоившимся голосом спрашивал отец.

– Всё эти курорты, – быстро ответила мать. – Они мертвецов воскрешают! Я раньше не верила...

Она оглянулась на вошедшую Таню и замолчала.

– Сейчас принесут самовар, – почти грубо сказала Таня. – Ведь вы вроде чаю хотели? Она посмотрела прямо в глаза матери и вдруг испугалась, что разрыдается.

– Таня! – Мать поднялась с дивана. – Я хотела объяснить тебе, прямо сейчас, при Дине и папе, почему это всё так вышло, что мы долго не виделись с тобой...

Таня крест-накрест обхватила себя руками и изо всех сил впиалась ногтями обеих рук в плечи.

– Ну, что ты молчишь! – повелительно, как показалось Тане, воскликнула мать. – Скажи, что ты всё понимаешь! Ведь ты же большая!

Тане хотелось ответить именно так, как она в воображении своем столько раз отвечала ей. Всё так и случилось, как Таня ждала. Мешала, правда, эта девочка в белых чулках. Должны были быть только Таня и мать. Мать приходила к ней – одна, без отца и без девочки. Жалкая, очень красивая, она стояла перед Таней на коленях и просила прощения. Сколько раз, лежа без сна, Таня видела, как мать опускается перед ней на колени, и сколько доходящего до зуда наслаждения было в том, чтобы отвернуться от нее!

...В комнате при этом всегда было темно, горячая темнота колыхалась перед глазами, как под яркими звездами колыхаются песчаные морские отмели, если долго, не мигая, смотреть на них. Сжавшись под одеялом так, что ноги начинало сводить, Таня повторяла, что этого нельзя простить, но мать умоляла ее, клялась, что никого она не любила так, как Таню, и нет никаких других дочек...

Теперь же, когда она и в самом деле пришла, стояла так близко, что можно было протянуть руку и потрогать ее, на Таню нашло оцепенение. Мать не опускалась на колени и даже не плакала. К тому же и Таня не нравилась ей: она давно выросла, кудри состригли. Но, главное, рядом была ее дочка, из-за которой матери пришлось двенадцать лет прожить за границей, и там, за границей, лечить эту дочку, возить по курортам, купать в разных ваннах...

Таня отвела глаза от матери, увидела, что на улице уже вспыхнул фонарь и что-то везде желто-синее...

– Боюсь, что она не готова. – Отцовская знакомая ладонь легла ей на затылок, слегка пропустив сквозь пальцы Танины волосы, как он это делал обычно.

– Какая вы злая, недобрая! – вдруг очень громко закричала девочка и, размахивая руками в красных перчатках, выбежала на самую середину комнаты. – Ну, разве так можно, когда все вас просят!

На ее лице под похожими на парик пепельными густыми волосами, которые начинали расти очень низко, чуть ли не с середины лба, появилось то паническое изумление, которое бывает у новорожденных и ошибочно считается произвольным сокращением младенческих мышц, в то время как это всего лишь волна застрявших в душе прежних страхов и боли, которую каждый, родившись, приносит с того, неизвестного, света на этот.

И тут Таня словно очнулась.

– Пойдемте пить чай, – прошептала она, проглотив соленый ступок, который давил на небо. – Уже заварили.

Она уперлась кончиком языка в острый край недавно отломившегося сбоку зуба, который своим болезненным прикосновением вдруг словно добавил ей силы.

– Нет, я ухожу! – затрясла головой Дина. – Мне так всё противно!

Мать покраснела. Дина взяла ее за руку и, как маленькая, потянула к двери. Тогда мать сделала какой-то торопливый и беспомощный жест, показывающий, что с Диной нельзя спорить, и обе они ушли. Отец бросился догонять. Таня услышала, как он в дверях сказал громко:

– Не бойся, я очень стараюсь.

Таня догадалась, что это о ней. Отец вскоре вернулся. Она стояла у окна, смотрела, как мать и ее дочка, взявшись под руки, переходят улицу и уменьшаются в почти фиолетовом, темном апрельском воздухе, принявшем над крышами домов красноватый оттенок.

– Не надо... – пробормотал отец. – Ты знаешь: чего не бывает...

* * *

Утро начиналось с пастушьего рожка – из ближней деревни гнали стадо на луга, и пастушок, мальчик лет пятнадцати, как будто сошедший с какой-то картины со своими белыми кудрями под огромной растрепанной шапкой, у которого только-только начал ломаться голос, и поэтому, когда он окликал своих коров, по лесу неслось то звенящее девичье «э-э!», то грубое, кричащее, как у утки, «эхе-х!», – этот пастушок в красном нитяном пояске поверх рваной рубашки исполнял роль дачных часов, потому что после его рожка одно за другим распахи-вались окна, к заспанным кухаркам на верандах подплывали полные румяные молочницы со своими бидонами, вытирали пот со лба, заправляли под косынку влажные сбившиеся волосы... Молоко, когда его начинали разливать большими кружками из бидонов, всегда сильно пенилось, было горячим.

На дачах веселилось и скучало много девушек и молодых людей, приехавших на каникулы, уставших за зиму, раздраженных своей голодной до всех удовольствий, забывчивой молодостью, готовых и к флирту, и к легким знакомствам, и к той неизвестности, которая всегда вдохновляет человека в начале пути и так, к сожалению, мучает после. Тут же начались романы, свидания в березовой, точно хрустальной (настолько нежны были эти стволы, настолько прозрачны зеленые листья), молоденькой роще вблизи от купальни, прогулки на велосипедах – причем далеко и всегда под луною, чтоб пахнувший медом и клевером ветер дурманил лицо, и так сильно дурманил, что даже хотелось, зажмурившись, мчаться, мелькая колесами, не разбирая, дорога ли это, земля или небо...

В это лето Таня оказалась полностью предоставлена самой себе: гувернантка, поскользнувшись на мокрой траве, упала и сломала руку, лежала в качалке под вытертым пледом, за Таней уже не смотрела. Няня только шамкала своим теплым коричневым ртом, беспокоилась, готов ли обед, вернулся ли папа из города. Мать с этой девочкой, Диной, не появлялась больше, отец ничего не рассказывал. Возможно, они снова были в Европе, лежали в горячих целительных ваннах. Ее это всё не касалось.

Вставала она, как и в городе, рано и, напившись чаю с деревенскими сливками, уходила гулять куда-нибудь подальше, на плотину или в поле, где травы наплывали на нее серебристыми волнами и низко над этими травами сверлили воздух стрижи. По вечерам собирались на какой-нибудь из дач, ставили самовар, раскладывали конфеты, баранки, купленные на станции, плотные, золотистые от света лампы, потом появлялась гитара, и плечистый, огромного роста Петруша Василенко, похожий при этом на девушку своими тонкими, как паутинка, светлыми волосами и густыми загнутыми ресницами, усевшись на верхней ступени террасы, принимался петь романсы. Ему подпевали, и соловей, сперва изумленно замолкавший от этих пустых человеческих звуков, вскоре опоминался и, с новой, удвоенной силой рассыпав по саду горячие трели, доказывал скучным старательным людям, что значит жить в небе и быть просто птицей.

В самом начале июня в Царицыно приехал молодой, но очень известный уже актер Владимир Шатерников. Он оказался невысок ростом, слегка коренаст, с очень легкой походкой, брови его были темными, густыми, подвижными, выражение лица, когда он находился на людях, постоянно менялось, словно он всё время следил за тем, чтобы не показаться однообразным. Шатерников был женат на актрисе, но они уже «простили» друг друга, как иногда с усмешкой объяснял он свое нынешнее положение, и после того как, сыграв роль писателя Толстого в фильме Якова Протазанова «Уход великого старца», Шатерников уехал из Петербурга, они с Маргаритой, женой, даже и не встречались. Что касается этой на шумевшей фильмы, то после нее началось столько сплетен, столько слухов поползло и на актера Шатерникова, и на режиссера Якова Протазанова, и особенно на оставшуюся после смерти Толстого измученную

семью его, что прокат был временно запрещен. Когда стало известно, что какая-то петербургская кинематографическая компания в погоне за дешевой сенсацией инсценировала интимную сторону жизни графини Софьи Андреевны с великим ее мужем графом Львом Николаевичем, причем были воспроизведены совершенно неправдоподобные сцены, а все мало-мальски правдоподобные представлены лживо, нахально, курьезно, графиня, едва оправившаяся от затяжного воспаления суставов, полученного в результате погружения в холодную воду яснополянского озера, сама побывала в Москве у очень влиятельных административных лиц, которые пообещали ей всячески воспрепятствовать появлению безобразия на российских экранах.

Фильму, однако же, не уничтожили, и режиссеру Якову Протазанову с помощью пятирех актеров, самым талантливым из которых являлся Владимир Шатерников, удалось-таки представить на суд особенно жадных до разных сенсаций любителей нового вида искусства ряд сцен. Сами их названия говорили за себя: «Мрачное состояние духа писателя перед совершившейся трагедией», «Покушение графа Толстого на самоубийство», «Душевный перелом», «Уход из Ясной Поляны», «Симулирование графиней Толстой самоубийства», «Возмутительные планы графини Толстой и Черткова».

Граф Лев Львович Толстой, сын писателя, выступивший от лица своей большой осиротевшей семьи, сообщил корреспонденту газеты «Русское слово», что, «к великому сожалению, слухи о безобразном надругательстве над именем покойного отца являются чистой правдой», но он с уверенностью заявляет, что больше в России ужасная лента показана вовсе не будет. Нервное родственное заявление, конечно, выслушали и дружески поддержали огорченно покашливающего, с бурными пятнами волнения на короткой шее Льва Львовича, однако пришлось принять к сведению, что фильма стоила баснословных денег, а именно сорок тысяч рублей, и вовсе рукою махнуть на расход совсем никому не хотелось даже из жалости к заболевшей графине и всем ее кровно обиженным детям. Тем более что грим, который накладывался на двадцативосьмилетнее лицо Владимира Шатерникова, был просто шедевром искусства, не хуже несколько романов Толстого. Мастерство скульптора Кавалеридзе и пьющего, правда, но ловкого гримера Солнцева, который под наблюдением Кавалеридзе налепил на молодом и румянном лице Шатерникова надбровные дуги и скулы, оправдало высокие требования Якова Протазанова, и он в отместку всем сплетням и наговорам сообщил журналистам из газеты «Утро России», вечно соперничавшей с газетой «Русское слово» (куда обратился взбешенный Лев Львович), что целью его новой фильма было отнюдь не оскорбление памяти великого писателя, а трепетное желание сказать о его страдальческой жизни и, кроме того, о страдальческой смерти последнюю и благородную правду. Единственное, от чего по требованию цензуры пришлось отказаться Якову Протазанову, – это очень даже неплохо снятое посмертное свидание графа Льва Николаевича с Христом, роль которого исполняла молодая, но подающая виды – с большими, как звезды на небе, глазами – артистка Уварова. Про Шатерникова рассказывали, что он, огорченный обещанным запрещением картины, расхаживал по монастырям в облике «великого старца», то есть налепивши с помощью Кавалеридзе и вечно хмельного, но ловкого Солнцева толстовские брови и вдвое раздвинувши нос, который у самого Шатерникова был узким и нежным, с заметной горбинкой. Расхаживал, страшно пугая монахов, которые вовсе не желали встречи с отлученным от церкви и преданным анафеме покойным писателем.

Теперь заслуживший большую известность, расставшись с женою и снова свободный, Шатерников приехал в Царицыно, где летом на даче жила его тетка, старуха веселая и не без средств.

Вокруг знаменитого артиста составилась небольшой кружок. Во-первых, кузен самого Черткова, отношение которого к фильму «Уход великого старца» было весьма неоднозначным: графиня Толстая, выпившая столько крови из его родственника и столько ему истрепавшая нервов за ту идеальную чистую дружбу, которая связывала покойного графа с Чертковым, слава богу, изображена так, как она того и заслуживает, но, к сожалению, сам Чертков и

вся его семья, столь близкие графу по духу, представлены были неясно и бегло. Кузену, человеку вспыльчивому и гордому, хотелось, чтобы Яков Протазанов продолжил работу над судьбой Льва Николаевича, и он через дружбу с актером Шатерниковым намеревался вступить в приятельские отношения с заносчивым Протазановым и всё рассказать о семействе Чертковых. Кроме кузена, вслед за знаменитым артистом приехал из Питера совсем еще молодой, только начинающий театральный режиссер Дерюгин, очень худенький и белобрысый, в узеньких брючках юноша, исполненный самых что ни на есть величественных планов. Вскоре к ним прилепился репетитор Леонидов, тоже совсем молодой, с ясными карими глазами, большеусый, у которого из-под закатанных рукавов рубашки блестел, словно мех, темно-русый волосяной покров.

Первые дни эти трое держались особняком и мало интересовались дачными развлечениями. К тому же Леонидов занимался воспитанием маленьких князей Головановых, одному из которых было девять, а другому – семь лет. Но тут зарядили дожди, длинные, хотя и теплые, с рассвета до глубокой ночи, а ночью особенно пьянящие запахи стали доноситься из садов, словно это пахла разбуженная дождями зеленая, сильная кровь всех деревьев, всех сладких, гниющих, незрелых плодов, всей мокрой листвы, всей земли, всего лета.

Тогда и затеяли ставить спектакль. Роман «Анна Каренина» выбрали по двум причинам. В октябре минувшего года на экраны вышел фильм режиссера Владимира Гардина под тем же названием. Шатерников сыграл Алексея Александровича, хотя поначалу Гардин обещал ему Вронского. Нужно было восстановить справедливость и сыграть все-таки – пусть даже на дачных подмостках – того, кого очень хотелось. А кроме того, трудолюбивый Дерюгин, у которого руки давно чесались подправить Толстого, пообещал за несколько дней переделать этот очень затянутый роман в современную пьесу. Решено было совершенно пренебречь всем, что касалось Константина Левина, как самого неинтересного и тусклого, по мнению Дерюгина, характера, зато показать самого Каренина, Анну и Вронского так, что даже Толстому не снилось. Первым делом по сцене договорились запустить электрический игрушечный поезд, который будет сопровождать всё действие своим безостановочным бегом. Регулировать движение этого поезда должна фигура одиноко и молча стоящего на краю сцены стрелочника, того самого, который был так ужасно раздавлен в самом начале романа и после тревожил во снах Анну с Вронским нелепым французским своим бормотанием. Кроме того, в последнем акте, когда уже нет в живых ни Анны, ни Вронского (Дерюгин ни секунды не сомневался, что Вронского убили в Турции), нужно было познакомить Сережу Каренина, превратившегося из восьмилетнего мальчика в мужественного и прогрессивного молодого человека, с родною его черноглазой сестрицей, которая стала сестрой милосердия и вечно стремилась на поле сражений. Короче, Толстого решили улучшить, поэтому дела хватало.

Собрались на первое чтение. Владимир Шатерников, слегка всё-таки ироничный по отношению к затеянному дилетантству, обратил внимание на худенькую, но с весьма грациозными и женственными формами барышню, которая как-то очень ярко блестела сизо-голубыми глазами и всякий раз, улыбаясь, показывала такие смугло-розовые ямочки на обеих щеках, что просто хотелось потрогать их пальцем. Барышня назвалась Татьяной Лотосовой. Шатерников немедленно предложил ее на роль Анны Карениной. Девически-нежного, но большого и неуклюжего Петра Василенко решили назначить Карениным. Начались репетиции. Поначалу Таня смущалась и постоянно забывала текст, написанный самолюбивым Дерюгиным, который не пожалел времени и как следует поработал над устаревшим романом. Дерюгин, например, уверял, что, увидев Вронского на обратном пути из Москвы, Анна должна броситься к нему и с криком: «Я тоже люблю вас!» – повиснуть на шее. По мнению режиссера, такая открытость чувств современной женщины очень способствует динамичному развитию действия.

– Ну, что же, приступим? – обратился Шатерников к Тане и вдруг покраснел и смутился. – Бросайтесь ко мне!

Она нерешительно переступила на месте.

– Бросайтесь! Быстрее! – приказал шуплый Дерюгин. – Бросайтесь на шею!

Шатерников одобрительно, слегка насмешливо улыбался.

– Да что вы стоите? – клокотал Дерюгин. – Взялись, так давайте!

– Нет, я не могу так, – решительно сказала Таня. – Мне кажется, это неверно, не нужно.

– Неверно? – Дерюгин по-женски всплеснул руками. – А что же, по-вашему, верно?

– Мне кажется, лучше как в книге.

Дождь закончился, и вдруг охватившее целое небо парное и жгучее солнце так сильно загло каждый лист и так – ослепительно-красным – пронзило всю траву, что показалось нелепостью оставаться на террасе, где было натоптано грязными ботинками и накурено, и нужно немедленно выйти на воздух.

– А ну ее, право, Каренину эту! – пробормотал мощный Василенко и с серебряным хрустом потянулся. – Сейчас бы чего-нибудь этого... Водки...

– Я провожу вас, – сказал Тане Вронский-Шатерников, – а лучше – пойдемте куда-нибудь... К полю, хотите?

Почти не разговаривая, они быстро дошли до поля, где дач уже не было, а только одна синева и птицы с алмазными черными клювами.

– Это стрижи? – спросила Таня.

Шатерников засмеялся:

– Я играл Хлестакова в Питере. Там Марья Антоновна говорит: «Что это за птица такая полетела? Сорока?» А Хлестаков целует ее в шею и отвечает: «Сорока».

– Так это стрижи? – повторила она, и поле вдруг стало качаться.

– Конечно, – ответил Шатерников-Вронский. – Стрижи, я уверен.

И обнял ее нерешительно.

– Поцелуйте меня! – попросила Таня. И вдруг покраснела, смеясь. – Вам по роли положено.

Шатерников осторожно поцеловал ее в уголок рта и отодвинулся.

– Боитесь? – спросила она, чуть не плача от волнения.

– Боюсь. – Он впился в ее губы с такой силой, что она чуть не вскрикнула. – Влюбитесь в меня, голову потеряете. А что старик скажет?

– Какой старик?

– А граф-то! – застонал Шатерников и жадно покрыл быстрыми поцелуями Танино лицо. – Граф Лев Николаич. Мы с ним породнились, следит за мной в оба...

Ей не понравилось, что он шутит, и она рывком откинулась внутри его рук, выгнулась всем телом, чтобы увидеть, не смеется ли он.

Ночью поехали кататься на лодке. И опять были эти поцелуи, к которым она уже привыкла, отвечала ему так же страстно и так же, как он, вдруг иногда отрывалась, переводила дыхание и снова прижималась пылающим лицом и мокрыми от слез ресницами к его лицу.

– Танечка, – повторял он, опрокидывая ее голову и целуя шею и начало груди, отсвечивающей молочным теплом в полной звезд темноте. – Какая ты чудная, Танечка, если б ты знала!

Вдруг она сжалась, почувствовав, что его руки расстегивают ей блузку.

– Зачем? Что ты делаешь?

– Боишься? Не хочешь? – пробормотал он, отдергивая руки. – Конечно, не надо, какой я мерзавец...

Но она уже сама целовала его.

– Танечка, мы с ней не живем давно, уже почти два года, но мы женаты, она не дала мне развода, я права сейчас не имею... Ведь ты почти девочка...

– Так ты что? Уедешь? А я тогда как же?

– Как скажешь, так сделаю, – обеими руками обхватив ее лицо и всматриваясь в мокрые, блестящие от страха глаза, прошептал он. – Ты *этого* хочешь? Не сердись? Правда?

Лодка мягко уткнулась в берег, Шатерников подхватил Таню на руки и выпрыгнул из нее. Полоска прибрежной травы была как в дыму от сияния месяца. У Тани сильно билось сердце, и, когда он опустил ее на землю, она крепко сжала его руку обеими руками.

– Ты *этого* хочешь? – повторил он, дрожа крупной дрожью, которая передалась ей.

Она кивнула, не сводя с него расширенных глаз. Он быстро снял рубашку и, белея своим молодым, плотным и горячим телом, осторожно положил ее на траву и лег рядом с ней. Боли не было, и крови почти не было поначалу, но когда через час, держась за руки, они молча подходили к ее даче и внутри неба начало дрожать какое-то расплывающееся младенческое лицо, Таня почувствовала щекочущую струйку, побежавшую по ноге, и приостановилась. Низкорослая ромашка, стебель которой был криво и жалко прибит к земле, окрасилась кровью и стала горячей и яркой от этого.

– Завтра первое августа, – сказал Шатерников. – Через две недели жена возвращается в Петербург из Финляндии. Я поеду к ней и потребую развода. Даю тебе слово: не позже зимы мы венчаемся, слышишь?

Назавтра – первого августа – началась война.

Утром приехал отец, привез пачку свежих газет, но вокруг и без того говорили только о войне, и стало казаться, что всё изменилось: как будто и лес, и земля, и трава вдруг стали другого, сиротского цвета. Отец, насупившись, сидел на террасе, шуршал своими газетами, хмурился и, громко прихлебывая, пил чай, который ему только что заварили, как он того требовал, до черноты. На дорожке, ведущей к крыльцу, появился Шатерников, и Таня, глядя, как он быстрыми шагами подходит к их дому, вдруг испугалась, как будто она совсем и не хотела видеть его.

Разговор сразу пошел о войне.

– Я поражаюсь, – сказал отец, – что вы, человек не военный, артист по профессии, стремитесь принять в этой бойне участие. Вам что, разве нечего делать?

Таня вдруг словно очнулась: оказывается, впитывая Шатерникова глазами и при этом незаметно для самой себя зажимая обеими руками под скатертью слегка ноющий низ живота, она пропустила самое важное.

– Вы называете это «бойней», – говорил Шатерников. – Какая же бойня, когда я тороплюсь на *защиту* Отечества. И я всегда хотел убедиться в том, что, *несмотря* на свою профессию, я могу сделать что-то важное и послужить моему Отечеству не только тем, что прыгаю по сцене и изображаю чужие подвиги. Сейчас нужны солдаты, а не артисты, – твердо добавил он и покраснел, встретившись глазами с Таней.

Она поняла, что он принял решение, и чуть не заплакала прямо при папе.

Ночью они встретились там же, где и вчера. Лодка постукивала о берег, и лебедь с перебитым крылом, подплывший к ней, сделал было движение, пытаясь забраться на лодку, но заметил огорченную парочку и, торопливо подгребая своим больным крылом, уплыл в темноту, растворился, растаял.

– Я не могу поступить иначе, – дыша в ее шею, бормотал Шатерников. – Поймите меня.

– Хорошо, – с отчаянием отвечала Таня. – Тогда сделайте так, чтобы я смогла приехать к вам. Я буду там, с вами...

Стыдно было зарыдать при нем, но всё содрогалось внутри, и, чтобы заглушить рыдание, Таня засунула в рот кончик своей большой ярко-русой косы.

– Война не продлится больше двух, от силы трех месяцев. Я сразу вернусь, мы с тобой обвенчаемся...

– А если тебя там убьют? – И она еще крепче прижалась к нему, притиснула его к себе обеими руками.

Он вздрогнул всем телом.

– Граф Лев Николаевич не одобрил бы моего поступка, – пробормотал он, глядя поверх ее головы на светло-зеленое в неровном освещении раннего летнего утра небо. – Но он забывал, что сначала нужно пережить всё это, на собственной шкуре попробовать... Как он пережил в Севастополе. Иначе нельзя. Это трусость и подлость, поскольку другие пойдут и другим будет плохо.

Таня поняла, что его не переспоришь, и тут же, обдав ее всю сладким ужасом, в голову пришла мысль, от которой она начала торопливо расстегивать свое чесучовое платье. Не может же быть, чтобы *это* не заставило его одуматься!

Шатерников отрицательно покачал головой.

– Я не имею права рисковать тобой... Нельзя ведь оставить тебя так... с ребенком. А если родится ребенок? Так как же тогда?

– Но ты сказал, что война будет идти от силы три месяца... – сгорая от стыда, прошептала она.

Он по-вчерашнему отогнул ее голову и начал медленно и осторожно целовать шею и ключицы.

– Меня не убьют, мы с тобой повенчаемся...

Через неделю он уехал, еще через четыре недели его ранило, и два месяца, которые он пролежал в госпитале, остались в ее жизни пачкой слегка пожелтевших от времени писем.

Первое письмо Владимира Шатерникова:

Уже больше десяти дней, как я в этом госпитале. Тебе нечего беспокоиться за меня, это один из лучших здешних госпиталей. Вечером в нашу большую палату, словно воронье, собираются все костыльные, безногие и однорукие поиграть на балалайках, попеть и посмеяться друг друга несмеиными анекдотами. Особенно чудесно двое одноруких играют на одной гармонике – настоящие артисты!

По окончании музыкальной части начинаются бесконечные военные рассказы. Тут уж всякий старается как может. Все, если им верить, режут проволоку простым перочинным ножом, наперебой берут немецкие окопы, обходят фланги, бьют неприятеля в лоб и т. д. Я слушаю их и не перестаю удивляться тому, с какой, иногда восторженной даже, любовью эти люди говорят о том, что причинило им недавно боль и страдание и что неизбежно еще скажется на всей их жизни. Ты не поверишь, но эта привязанность к фронту, как я заметил, присутствует даже у умирающих. В одной палате со мной лежит совсем молодой и очень красивый поручик, который вот уже почти полгода умирает медленно и тяжелою смертью. У него прострелен позвоночник, поэтому обе ноги парализованы. Лежит он на водяном матраце, весь в пролежнях, не может без посторонней помощи ни встать, ни перевернуться. При этом нисколько не ноет и не жалуется. Целыми днями играет в преферанс, не выпуская изо рта папиросы. А когда говорит, то говорит только о фронте, при этом без злости, без ненависти, говорит как о самых лучших своих днях и не связывает их ни со своим увечьем, ни со своею, судя по всему, уже близкою смертью.

Я постепенно прихожу к мысли, что в нашем фронтовом опыте есть что-то очень духовно значительное, как будто бы ось всей жизни переходит из горизонтального положения в вертикальное и всё обыденное становится ярким и необычайным. Это как равнодушному и уставшему человеку вдруг полюбить. Иногда мне кажется, будто войну и любовь роднит их общая близость к чему-то самому главному, вечному. Как бы ни страшна казалась нам сама смерть, но звуки немецких и наших снарядов – это ведь и есть те разговоры, которые ведет

с нами вечность, и даже я, новичок в этом деле, почти научился прислушиваться к ним не только со страхом, но и с каким-то переворачивающим всю мою душу сильным наслаждением.

* * *

Дачи наскоро заколачивались, дачники разъезжались. Вокруг еще царило лето, и млели стрекозы на солнце, и птицы всё пели и пели, но астры, которые и в прежние времена начинали тихо умирать с самого своего рождения и сладким настойчивым запахом смерти подзывать к себе пушистых, как вербы, и черных, как уголь, раскормленных гусениц, – астры этим августом запахи сильнее обычного, их головы были густыми, мясистыми. После отъезда Шатерникова Таня заявила отцу, что возвращаться на курсы сейчас, когда идет война, нелепость, что даже императрица и ее дочери работают простыми медсестрами и она должна поступить так же, как поступает большинство девушек.

– Всё это, конечно, похвально, – хмуро ответил отец. – Но ты не рисуй себе эти картинки... всеобщей гармонии. Я вот со всех сторон слышу, что дети, мальчишки, толпами побежали на фронт. Патриоты! А вернутся – если Бог даст, вернутся! – покалеченными, без рук и без ног, пьяницами, неврастениками! На что они жизни положат?

– Но разве защита Отечества...

– Похвально, похвально, – так же хмуро и с оттенком насмешки перебил отец. – Ты только поверь мне: война – это древний и кровожадный инстинкт человечества, не более. В старые времена она и велась так же просто: за земли, за власть, за богатства. Красивые слова появились не сразу. А вот когда они появились, то все стало умными и благородными: война – это уже не страсть к убийству, упаси боже! Она вся облеплена красивыми словами, куда ни посмотришь, кругом одни лозунги! А суть та же самая: кровь и грабеж.

– Нет и еще раз нет! – вскрикнула Таня и ладонью зажала ему рот. – Ты всё видишь в одном мрачном свете! Ты хочешь, чтобы я сидела на диване и читала книжку! Когда все вокруг помогают, все жертвуют...

– Ну, как же! Еще бы! Императрица, дай ей Бог здоровья, подходит к солдату и спрашивает: «Пузо болит?» Солдат лежит под простыней, глаза закатил. А там уж ни пуза, ни ног... одно месиво. Знаю, что я тебя не удержу. Ты меня и маленькой не очень-то слушалась, а теперь и подавно. Но ты еще вот что учти: ты женщина, а они, эти раненые, – все сплошь мужчины. Ты ведь уже взрослая, догадываешься, о чем я говорю. Особенно те, которые понимают, что чудом выкарабкались. Это тоже инстинкт, не менее сильный, чем инстинкт войны, и даже намного сильнее. Нужно правильно вести себя. Очень нужно правильно себя вести. Тут особая игра. Понимаешь меня?

Таня стала огненной, платье прилипло к спине.

– Ты хочешь сказать, что я... Что они...

Отец погладил ее по голове и, как он делал это обычно, пропустил через пальцы ее волосы.

– Мне бы ото всего уберечь тебя хотелось, – пробормотал он, и Таня вдруг заметила, какие черные и набухшие у него подглазья. – А то тут такое начнется...

Второе письмо Владимира Шатерникова:

Вчера вечером я разговорился с одним раненым офицером, который рассказал мне, что ему довелось присутствовать при том, как московские артисты собирали деньги в помощь «бедным солдатам». Верю ли, меня всего перевернуло! Всё это происходило на Кузнецком Мосту. Он очень живо описал мне, как нарядная, разодетая толпа густо струилась вверх и вниз по улице, яблоку негде было упасть. В толпе мелькали бритые актерские физиономии. И я ведь знаю этих людей, ведь это всё братья по цеху! На углу Кузнецкого и Неглинной стоял

Качалов и за большие деньги продавал свои огненные взоры и пару актерских «рыков» проходящим мимо дамочкам. Массалитинов шутками вымогал у собравшихся деньги, восседая при этом на очень нарядной птице-тройке и слегка похлестывая возжсами неподвижных орловских рысаков. Москва, как говорит этот офицер, превратилась в какую-то почти Венецию, на улицах, примыкавших к Кузнецкому, кипел настоящий карнавал, мальчишки торговали цветами, везде пестрели конфетные обертки, дамы, как всегда, заливались глупым смехом, мужчины острили. Короче, гуляли на славу! Не знаю, слышала ли ты об этом событии, но на меня рассказ произвел самое болезненное впечатление. Все газеты тут же рассюсюкались на тему «бедного солдатика» и «отзывчивого сердца работника сцены». Боже мой! Где же стыд у этих людей? Что бы им хотя бы в мыслях сопоставить то, как скрипит зубами от боли русский солдат, умирая в каких-нибудь бурых болотах, с шуточками этих бритых, напудренных, пьяных сценических «гениев»!

* * *

По дороге в госпиталь – стояло начало зимы, и одна только липа на углу Ордынки и Пятницкой еще удержала несколько дрожащих листьев, таких ярко-черных, как будто обугленных, – Таня лицом к лицу столкнулась с Александром Сергеевичем. От неожиданности она вся залилась густой краской. Александр Сергеевич очень похудел за прошедший год, шея его была почему-то открыта, без шарфа, и выступала из-под мехового воротника пальто нежно и хрупко.

– Ну вот! Наконец-то! – воскликнул Александр Сергеевич и быстро приподнял руки, как будто собираясь обнять ее. – Я ждал вас всё время.

– Как вы поживаете? Как ваш Василий? – испуганно спросила она.

– Красавица вы. Даже лучше, чем были, – медленно сказал Александр Сергеевич, пожимая ее глазами. – А я ведь без вас тосковал.

– Что ваша жена? – перебила Таня.

– Жена умерла. – Он вздохнул. – Она очень сильно болела, вы помните?

– И как вы теперь? – глотнув серебристого ветра, спросила она.

– Жены больше нет. А сын мой на фронте. Я не смог его удержать. А как вы сама?

– Работаю в лазарете у великой княгини Елизаветы Федоровны, устала, совсем мало сплю...

– Как странно, что раньше мы с вами не встретились...

– Сейчас очень много работы, у Елизаветы Федоровны не хватает сестер, поэтому там особенно нужны...

– Да, много работы, я знаю, – кивнул он. – Прекрасная женщина эта княгиня! А Вася почти мне не пишет, волнуясь всё время.

– Давно ваша жена умерла?

– Перед самым началом войны, на водах.

– Уехала всё-таки? – ахнула Таня. – Она не хотела...

– Это было нашим последним шансом, – быстро ответил Александр Сергеевич. – Ей нужно было принять курс тамошних вод, лечиться... Я сделал, что мог...

Таня почти перестала дышать и со страхом смотрела на него, пытаясь понять, что это она сейчас слышит: ведь это всё ложь? Он лжет ей?

– Что вы так смотрите? – усмехнулся он. – Думаете, я вам неправду говорю?

– Я думаю, да. Вы сами хотели, чтобы она уехала, и там... Только чтобы подальше. Она следила за вами, вы так говорили... Ведь это вы мне говорили?

– Ну, мало ли что я говорил! – Он вздохнул и отвел глаза. – Тогда многое представлялось в неверном свете. Все эти супружеские споры, скандалы, кто прав, кто не прав – всё это, ей-

богу, к делу не относится. Тут черт ногу сломит, поверьте... Зачем мы об этом сейчас говорим? Я счастлив тому, что вас встретил.

– Мне в госпиталь, – заторопилась она. – И вы, пожалуйста, не нужно ничего такого... Я обречена, у меня жених ранен, и мне совсем не до этого...

Он весь просиял своей обжигающей знакомой улыбкой.

– У вас жених ранен, а у меня сын на фронте. Мы с вами друзья, разве это не правда? А Нина уже ни при чем. Когда человек умирает, вся его жизнь уходит вместе с ним. Нет человека – и ничего нет. А что с ним и где он – это неведомо.

«Зачем он так говорит?» – подумала она, опять чувствуя страх от его особенного голоса и улыбки.

– Вы, значит, невеста? – Александр Сергеевич перестал улыбаться. – И кто же счастливеец?

– Владимир Шатерников, известный артист.

– Ну, как же! «Уход великого старца»? Так он ведь старик, или я ошибаюсь?

– Ему двадцать восемь лет, – вспыхнула Таня. – А это всего только навсего грим.

– И что это вас занесло на актера! Они ведь играют не только на сцене, это особая людская порода: не могут они *не играть*. Я вас от души уверяю, что актер, случись ему, скажем, оказаться где-нибудь в пустыне, где нет никого, кроме верблюдов, – он и там будет играть какую-нибудь роль, ему и зрители не нужны...

– Перестаньте! – попросила Таня. – Вы-то не поехали сражаться! Как же вы говорите такое?

– Да я и не мог бы «сражаться». Куда мне... – Александр Сергеевич иронически приподнял брови. – Простите. Всё это от ревности.

– Какой еще ревности? Прощайте! – Она отвернулась и, не рассчитав, шагнула прямо в снег. В ботинки сразу набился обжигающий холод. – Я очень тороплюсь.

– Куда вы торопитесь, Таня! – Он загородил ей дорогу. – Куда вы всё время бежите и рветесь? Хотите в синематограф? Вы любите фильмы?

– Я правда не знаю, – прошептала она, чувствуя, как коченеет нога. – Сейчас не до этого.

– Во сколько вы завтра свободны? – Александр Сергеевич близко наклонился к ней. – Заеду за вами, когда вам удобно.

Третье письмо Владимира Шатерникова:

Сегодня весь день лил дождь, но при этом было тепло. Не скажешь, что осень. К вечеру небо расчистилось и переполнилось звездами. Вспомнил, как в детстве я до страсти любил смотреть на звезды, давал им человеческие имена. Не так давно, при отъезде из Питера, стал разбирать фотографии, хотел взять с собою на память штук двадцать, особенно больно было расставаться с теми, где родители. Посмотрел и на себя самого. Вот мне четыре года, вот я младенец в коляске, и няня стоит рядом – гордая, что ее снимают, – вот я гимназист, уши оттопырены, глаза наглазые, а вот я на съемках «Великого старца». И знаешь, что поразило меня? Ведь это всё – разные люди. Что общего у гимназиста с оттопыренными ушами и человека, который пытается изобразить графа Толстого, горбится перед зеркалом в крестьянской рубахе и двигает только что наклеенными бровями? Что общего между мальчишкой в матроске, сидящим, как кукла, на руках у матери, и тем юнцом, которым я был еще недавно, когда собирался на фронт? В голову мне пришла странная, может быть, но до удивления ясная мысль: а не проще ли предположить, что всякий из нас проживает здесь, на земле, не одну, как нам кажется, а несколько жизней? Не знаю, смогу ли объяснить тебе, насколько эта мысль вдруг перевернула меня всего. Ведь я, который был мальчишкой на материнских руках, давно исчез, и только память роднит меня, сегодняшнего, с ним, так же, как когда-нибудь исчезну тот «я», который сейчас пишет тебе это письмо, и появится кто-то

другой, которого я сейчас не знаю и даже не могу догадаться, как он будет выглядеть. А что же такое тогда смерть? Что происходит с этим самым «последним» человеком, которым станет каждый из нас? Он уйдет и закроет дверь за всеми – мальшом, подростком, стариком и, наконец, умирающим. И тут же я подумал: разве это верно – сказать «закроет»? Разве не наоборот? Со смертью этого последнего «я», может быть, дверь-то и открывается, наконец, по-настоящему?

Видишь, каким философом становлюсь я от нашего госпитального безделья. Скорее всего, это происходит потому, что и там, на фронте, и здесь, в больнице, смерть слишком уж близко подступила ко мне, она подошла вплотную, и только надежда, что Бог не захочет разлучить меня с тобою так скоро, спасает от страха, неизбежного сейчас. Ведь здесь над каждым из нас, как ястреб над цыпленком, висит опасность, что рана в любой момент может оказаться смертельной, начнется нагноение, подыметесь жар, пойдет заражение и т. д. Иногда, когда я смотрю на особенно тяжелых больных, мне начинает казаться, что они уже и не люди, а просто придатки к своим кровоточащим, раздробленным конечностям. Каждый из них, засыпая вечером, боится, что завтра утром, когда доктор на осмотре откинет одеяло и приняхается к зловонию, которое сочится из-под бинтов, отдаст приказание на операцию, и тогда раненого положат на стол, натянут на лицо удушливую маску и, превратив его в онемевшую тушу, отрежут эту загнившую ногу или заново раздробят череп.

Прости, что пишу тебе всё это. Но я ведь знаю, какая ты, я не ошибаюсь в тебе. Даже в твоей очаровательной хрупкости чувствуется присутствие той душевной силы, которая поразила меня в первую минуту, когда я только увидел тебя. Если бы ты знала, как я всю тебя помню: твои глаза, когда ты сказала «женитесь на мне, и я буду там, с вами», и то, как ты вся побелела, узнав, что я уйду на фронт, и как ты крепко, до боли, обняла меня, когда мы прощались. Ты лучшая на земле, самая сильная, самая прекрасная. Я не должен умереть, так я хочу снова обнять тебя, почувствовать твои губы.

* * *

Василий Веденяпин, сын доктора Александра Сергеевича Веденяпина, уходя на фронт, стремился не только к защите Отечества, но и к тому, чтобы как можно быстрее забыть свой последний год в родительском доме. Известие о смерти матери пришло через три дня после объявления войны, и если бы не война, это известие должно было убить его, потому что страшная вина перед матерью, которую он знал за собой, не могла быть исправлена теперь, раз матери нет больше. Отец много раз объяснял ему, что мать заболела не только болезнью легких, он объяснял, что рассудок ее пострадал в результате этого легочного заболевания, мать начала совершать одну ошибку за другой, и даже любовь ее к сыну дошла до полного абсурда. Василий старался прислушаться к тому, что говорил ему отец, но внутри себя не соглашался с ним. Теперь, когда матери не стало, она всё чаще и чаще приходила ему на память не той, какой была в последний год, когда, если верить отцу, рассудок ее был уже болен, а той светловолосой и голубоглазой мамой, которая учила его плавать в Коктебеле, и волны накатывали на них обоих, накрывали с головой, и мамино смеющееся и испуганное лицо вдруг крепко прижималось к его лицу под водой, а ее длинные волосы расплзались во все стороны, как водоросли, пока они вместе, отхлебываясь и хохоча, выныривали на поверхность. Или он вдруг вспоминал, как она, поручив его няне, когда у него была высокая температура во время очередной болезни, уезжала куда-то на час с небольшим и возвращалась, запорошенная снегом, в большом заиндеветшем капоре, входила к нему в комнату с красивой коробкой, перевязанной синими или розовыми блестящими лентами, и лукавая, радостная от того волнения и счастья, которое сразу же освещало и его красное от жара лицо, вынимала из этой коробки чудесный подарок: клоуна с раскрашенными фарфоровыми щеками, у которого руки и ноги приводились в движение с помо-

щью особого устройства, вставленного внутрь его опилочного живота, или красивый поезд с закутанным в белый тулуп стрелочником.

Еще и раньше Василий замечал, что стоило им – ему, маме и отцу – остаться втроем, как родители тут же начинали ссориться, и он неизменно оказывался причиной их ссор и скандалов. Он редко видел отца, который постоянно пропадал на работе, и поэтому, когда тот ненадолго оказывался дома, хотелось приласкаться к нему, взобраться на колени и изо всех сил надышаться запахом крепкого, вкусного, щекочущего ноздри одеколона, идущего от впалых отцовских щек. У мамы же, напротив, при виде отца почти всегда изменялось лицо: оно становилось напряженным и немного капризным, как будто мама не хотела, чтобы отец хоть на секунду забыл о том, что ей плохо с ним и даже ее улыбка есть не что иное, как результат тяжелой внутренней борьбы. Иногда Василий пытался понять, что же на самом деле происходит внутри родительской жизни, но каждый раз заходил в тупик: он любил отца – он точно знал, что любил его, – но маму он не просто любил, он обожал ее почти до страха, и когда она раз в месяц объясняла, что больна, и по несколько дней не выходила из своей комнаты, он чувствовал такую тоску, от которой ничто не спасало, даже отец с его вкусно пахнущими впалыми щеками.

После того, как всё это началось: мамина слезка за ними обоими, ее крики, иступленные требования и то, что отец в конце концов снял ей квартиру, и наступила зима, за время которой Василий видел маму всего два-три раза, пока она не уехала за границу лечиться, – после всего этого объявление войны, на три дня опередившее телеграмму о маминой смерти, было подобно тому, как если бы во всем мире вдруг погас свет. Всё разом потеряло смысл. Незачем стало учиться, например, или заботиться о будущем. Зато теперь он, по крайней мере, знал, что ему делать. На похороны они с отцом не поехали, отец выслал деньги, и маму похоронила ее кузина, жившая на юге Франции.

Последнее свидание с матерью, случившееся в кофейной Филиппова, мучило его до отчаяния. Эта русоголовая барышня, с которой отец повел его знакомиться, вызвала в нем доходящее до стыда восхищение и одновременно ненависть, которую он не мог объяснить себе. Она была похожа на знаменитую балерину Клео де Мерод, фотографии которой украшали журналы и витрины: те же яркие глаза, те же длинные брови и густые волосы, разделенные пробором так, что по обе стороны щек гладкие пряди, низко опускаясь на уши, образовывали что-то похожее на шапочку. Красота ее полудетского и очень серьезного лица поразила его, но то ледяное спокойствие, с которым она смотрела на него, и та высокомерная вежливость, с которой она слушала отца, бормочущего какую-то чушь, и, главное, презрение, которое появилось в ее глазах, когда мама, спрятавшаяся в дамской комнате, вдруг вышла оттуда и начала нести бог знает что, – всего этого он не мог вынести, и даже сейчас, хотя прошло уже полгода, чем чаще вспоминалась ему эта барышня, тем ужаснее, до какого-то мучительного сияния внутри мозга, становилась ненависть, которую он испытывал к ней.

Вчера к прапорщику, с которым он сдружился недавно, приехала жена, сняла комнату у здешней хозяйки. Прапорщик, узкоплечий, носящий знаменитую фамилию Багратион, человек очень выносливый, хвастун и прекрасный рассказчик, опоздал к учениям и весь день ходил сам не свой.

– Я тебя, Васька, не понимаю, – сказал он во время обеда и вдруг побелел весь, как будто от боли. – Без женщины жить – это ад. Как ты терпишь?

Василий опустил глаза.

– Да, ад, – сурово повторил прапорщик. – Ты, Васька, наверное, девственник, иначе б не выдержал.

– Какой я девственник! – пробормотал Веденяпин. – Ничуть я не девственник!

– Да ладно! – крепким, сочным смехом засмеялся Багратион. – А то я не вижу! Пора это дело заканчивать, Вася. Тут девок наехало окопы рыть, выбирай любую!

– Каких еще девок?

– Ась? – еще сочнее расхохотался прапорщик и приложил сложенную ковшиком ладонь к уху. – Не знаешь, каких, Васька, девок? Да беженки больше, и много молоденьких. Хорошеньких много. Они соглашаются быстро, берут, Васька, дешево. Ищи молодайку, солдатку, да только бездетную. С детьми погоришь на гостинцах.

– А где их найти, этих девок? – набравшись духу, спросил Василий.

– Да здесь они, рядом. Вон, видишь, бараки? Вот там и живут, хлеб жуют, окопницы наши. Вчера, говорят, только с поезда.

– Откуда ты знаешь? Ходил ты к ним, что ли?

Багратион замахал на него длинными руками.

– Да тыфу на тебя! Ко мне Машенька приехала. Ты Машу мою видел? Ну, и посмотреть нечего. Так и заруби на носу: захочешь полюбоваться – подкрадусь и зарежу. Я тебе это как другу говорю. Вот она пугает, что всего на шесть дней приехала. А я ее шесть дней из кровати-то и не выпущу!

Под глазами у прапорщика разлилась синеватая чернота, ноздри раздулись.

– Не выпущу, Вася. Я правду сказал. Жить без нее не могу. Как вчера вошла она, распустила волосы, так я весь зашелся! Могли ведь убить меня. А? Ведь могли же! И не было бы ничего: ни волос этих, ни губок ее... А плечики какие! Сожмешь – как зефир! Правду говорю! В руках тает. Теперь и помирать не страшно. Ведь вот она уедет, так это всё равно что смерть. Хуже смерти.

Он махнул рукой и быстро пошел прочь. Василий посмотрел на его сутулую худую спину, и вдруг словно молния пробежала внутри: почувствовал чужую любовь.

Во избежание беспорядка среди солдат окопницы работали по ночам. Веденяпину не спалось. Он по привычке подумал о маме, и мамино лицо с готовностью вспыхнуло перед глазами, как будто она только того и ждала, чтобы он позвал ее. Он вспомнил, что мама почему-то не любила ночевать в спальне и часто оставалась до утра в своем маленьком кабинете, где стоял ее письменный стол, массивное кресло, на котором всегда лежало что-то начатое, шитье или вязанье, и узкая, очень неудобная изогнутая кушетка с шелковыми подушками. Мама засыпала на этой кушетке, хотя папа был в спальне и, может быть, ждал ее. Один раз Василий сам видел сцену, которая только сейчас стала понятна ему.

Приближалось Рождество, и он знал, что мама, отправив его в детскую, уже положила под елку подарки. Трудно было заснуть, если там, в припудренной снегом, пахнувшей хвоей темноте, перевязанные лентами, в синих, розовых и золотых коробках томятся подарки, поэтому он вылез из кровати и побежал в гостиную, где горела только настольная лампа под сиреневым абажуром и до одурения, всё сильнее и сильнее, пахло зимним еловым лесом. Но, очутившись в коридоре, он вдруг остановился. Дверь в мамин кабинет приоткрылась, и там, в кабинете, очень тускло горел торшер, слегка освещая спящую на кушетке маму, которая показалась изогнутой, как гусеница, и была такой же мохнатой, как гусеница, потому что завернулась в мохнатый коричневый плед. Над спящей мамой стоял отец, очень бледный, в большом ночном халате, который Василий, совсем маленьким, часто использовал, чтобы устроить себе пещеру, из которой можно караулить разбойников.

Папа стоял над спящей (или она не спала, а притворялась?) мамой, разглядывая ее так, как будто он собирается навсегда уйти из дома или умереть и поэтому старается напоследок запомнить ее. Один раз он даже наклонился к ней и понюхал ее лицо и волосы. Странно, что мама не проснулась даже от этого. Потом отец повернулся и пошел к себе, в спальню, так и не заметив Василия. А только за ним захлопнулась дверь, как мама села на кушетке и зажала ладонями рот, как будто ее душил смех.

Тогда он был еще слишком мал, но испугался так сильно, что даже забыл про подарки, вернулся в детскую, забрался под одеяло и долго стучал зубами от холода, хотя в комнате было очень тепло.

Подрастая, он старался не вспоминать об этой ночи, но иногда, засыпая, вдруг видел самого себя, спрятавшегося под папин халат, внутри которого пахло так же, как пахли папины щеки. Невидимый в этом огромном халате, он пробирался в кабинет, где на маминой кушетке лежала большая гусеница, которую он знал, потому что когда-то они с мамой загнали ее в спичечный коробок, чтобы рассмотреть получше, и она сначала притворилась мертвой, как это делают все звери, когда им грозит опасность, а потом, поняв, что смерть не помогает, начала извиваться, протирая свою шоколадную, с желтыми пятнышками, бархатную спинку о стены короба.

Теперь мамы не было больше, а он стал солдатом, стал воином и пошел защищать Отечество. Барышня, похожая на балерину Клео де Мерод, портреты которой украшали витрины дамских магазинов, почти не тревожила его больше, и даже если бы она сейчас сидела на коленях у его отца и целовала (Василия передергивало от отвращения!) отцовские впалые щеки, до этого воину не было дела.

Под легким, светло-бирюзовым внутри быстро наступающего вечера дождем он подошел к бараку, где жили окопники, и заглянул внутрь. В бараке, несмотря на растопленную печь, было еще холодно, воздух, видимо, не успел прогреться. На грубо сколоченном столе горела керосиновая лампа, освещающая несколько крупно порезанных кусков серого от соли хлеба и чугунок, завернутый в большой деревенский платок. Рядом с печкой, на топчане, накрытая таким же платком, лежала женщина. Из-под платка торчали маленькие ноги в пестрых шерстяных носках. Василий испуганно кашлянул. Женщина приподнялась, и он увидел совсем молодое, черноглазое и ярко раздурманившееся от сна лицо. Черных волос было так много, что они накрыли не только ее голые плечи, но и грудь, быстро приподнявшуюся и задышавшую под сорочкой.

– Чего тебе? – хриплым, непроснувшимся голосом спросила она. – Иди, пока цел!

Но по ее тону, а больше всего по любопытно и лукаво заблестевшим глазам он догадался, что она не только не прогоняет его, а, напротив, радуется ему, и хитрая улыбка, появившаяся на ее румяных губах, пока она говорила, подтверждали это.

– А ты что, одна? – волнуясь, спросил он.

– А как же? Одна. Две ночи копала, сказали: поспи. Я печь-то зажгла, а сама задремала. Картошки вон им напекла. Поутру придут, так голодные будут...

Она подняла с пола упавший платок и, не сводя с Василия своих лукаво и очень ярко блестевших глаз, туго завернулась в него. Василий близко подошел к топчану.

– Чего гуляешь по ночам? – засмеялась она. – Прошпектов тут нет для гулянок!

– Зовут тебя как? – с заминкой спросил он.

– Ариной зовут, – ответила она и вдруг так сильно закусила губу, что выступила вспухшая полоска. – Ты дверь-то прихлопни!

Он прихлопнул дверь, набросил крючок задрожавшими руками.

– Замерз? – деловито спросила она.

Василий кивнул.

– Ну, что с тобой делать? – Она, посмеиваясь и словно недоумевая, покачала своей растрепанной головой. – Ложись, раз замерз.

Сначала ему показалось, что он ослышался, но Арина, вздохнув, освободила ему место на топчане рядом с собой и исподлобья посмотрела на него ставшими вдруг ласковыми и успокаивающими глазами.

– Ложись, покалякаем.

Дрожа, он улегся рядом с ней и неловко закинул руку ей за голову, сразу же начав задыхаться от запаха ее волос и влажной горячей шеи, шелковисто скользнувшей по его руке.

– Молоденький ты! – зашептала Арина. – Годков восемнадцать-то будет?

– А как же! – сквозь дрожь бормотал он. – Постарше тебя...

– Ну вот! Скажешь тоже! – И она вдруг крепко поцеловала его в переносицу пухлыми горячими губами. – Я уж и замужем побывала, и дитё у меня в деревне осталось, а ты говоришь, что постарше!

– Что я говорю? – Он тянулся к ней всем телом, но что-то как будто мешало ему.

Нужно было раздеться самому и, главное, скорее снять с нее эту большую горячую сорочку, но руки его оказались заняты: обеими ладонями он держал ее пышно-черноволосую голову и не знал, что делать с ней, как будто боясь, что, как только он выпустит из рук эту голову, Арина исчезнет. Она вывернулась и прижалась лбом к его кадыку. Он услышал ее тихий, влажный щекочущий смех. Он вдруг перестал дрожать, и всё, что случилось, случилось внезапно, но так, как положено, даже не стыдно. Арина гладила его по животу горячей тяжелой ладонью, и от этого ему больше всего на свете захотелось спать.

– Поспи, золотой мой! – тягуче пробормотала она и вдруг, как кошка, лизнула его в уголок закрытого левого глаза. – Поспи на дорожку.

– Ты завтра здесь будешь? – спросил он спустя двадцать минут, одевшись и стоя уже в дверях.

– Иди, иди! – не отвечая на его вопрос, засмеялась она. – Завтра я работаю всю ночь, а днем тут нельзя, бабы будут.

– Так как же тогда? – испугался он.

– А так. Сговоримся. Ты мне сахарку принесешь? А то не с чем чаю попить...

Он покраснел и радостно закивал головой.

– Тогда часов в восемь, в лесочке. За полем лесочек есть, видел, наверное?

Она быстро поцеловала его в щеку, вытолкнула из барака и захлопнула дверь. Он услышал, как ее ноги в шерстяных носках энергично простучали по крепко утопанному земляному полу, потом шаги затихли: она, наверное, снова улеглась на топчан.

Василий закинул голову. Дождя больше не было, и редкие звезды, стыдясь, что им всё чаще приходится становиться свидетелями того, как людей убивают даже ночью, выглядывали из-под облаков и наивными глазами следили за тем, как Василий – отныне не мальчик, не отрок, но воин – идет по земле и, свободный от страха, от мыслей про маму и мамину смерть, вдыхает в себя запах мощного ветра.

Четвертое письмо Владимира Шатерникова:

Такое количество раненых поступает с фронта, что нас, выздоравливающих, перевели в другой госпиталь, пониже рангом. Мы шли через улицу в своих желтых халатах из главного здания в небольшой деревянный барак. Прошли мимо часового у ворот, который посмотрел на нас, как мне показалось, с какой-то брезгливой жалостью. Палата на сорок коек, сбитые матрасы, пахнет соломой, накурено, наплевано. Через пять минут нас уже нещадно поедали клопы, жарко. На койке у окна кто-то вскрикивает всё время пронзительным и бессмысленным голосом. В таких бараках война, как я понял, совсем непопулярна. Солдаты так прямо и говорят: «Нам всё равно, кому служить: немцу или Николаю. У немца, говорят, кормят лучшие». Сказать по правде, этого я не ожидал. Офицерские разговоры тоже мрачные и безнадёжные. Пехоты у нас нет. Пополнение с каждым разом всё хуже и хуже. Наши желторотые прапорщики шестинедельной выпечки совсем никуда не годятся. У них молоко на губах не обсохло, такие офицеры никогда не будут пользоваться у солдат авторитетом. Они умеют одно: героически погибать, но воевать хоть сколько-нибудь разумно они не в состоянии.

Очень нелестные отзывы услышал я и о сестрах милосердия, попавших на фронт, и о тех женищинах, которых набирают, чтобы рыть окопы. Да это и понятно: солдаты, конечно, изголодались, они уже себя не помнят. «Как увижу бабу, – сказал мне один солдат, – так и давай жеребцом ржать. Тут уж одно в башке: лишь бы не упустить».

Витебский губернатор издал приказ: не брать на работу беженков, потому что начнется настоящее разложение армии и взрыв венерических болезней. В районе расположения 3-го конного полка, особенно в местечке Новоселице, много австрийскоподданных проституток, которые скрываются под видом сестер милосердия и полковых дам в трауре. На них идет целая «охота». Русские солдаты и офицеры не считаются ни с классом, ни с возрастом. Случаются иногда и разные курьезы. Двое наших казаков стояли на квартире. Пока они там стояли, хозяйка родила без мужа. Староста пошел к командиру полка и сказал, что это они, то есть казаки, виноваты. Они говорят: «Да мы ни при чем! Мы на этой хате всего три недели стоим!» Но командир полка приказал им взять младенца с собой, и они его сейчас возят с одного места на другое и нянчатся с ним. Приспособили ему вместо люльки сундучок для перевозки канцелярии, младенец теперь там и спит: в сундучке на официальных документах. Смешно, Танечка, родная моя, смешно и грустно.

Вчера видел сон, который никак не выходит из памяти. Сначала мне всё казалось, что я лежу в каюте и на море поднялась буря. Потом буря немного утихла, я выбрался из каюты и поднялся наверх, на палубу. Там было много людей, которые, как я подумал сначала, спят в шезлонгах, прикрыв свои лица кто чем: кто шляпой, кто газовым шарфом. Я наклонился над одной из таких шляп и вдруг понял, что человек не дышит, он мертв, потом наклонился над другой – то же самое. Я обошел всю палубу – до сих пор чувствую, как сильно колотилось мое сердце, – отдергивая шарфы и сбрасывая шляпы, но живых среди этих людей не было. Вдруг я услышал какой-то хлюпающий звук, похожий на то, как кошка лакает из миски молоко. Оглянулся и увидел совсем маленькую девочку, которая сидела на корточках, прижимая к груди тарелку с чем-то красным, и жадно лакала из этой тарелки. Я спросил ее, что она пьет, и девочка ответила по-немецки, что пьет она клюквенный сок. Красные струйки текли у нее по лицу, капали на белый передник. Мне стало дурно, и, наверное, от этого я и проснулся. Весь день думаю, что может значить такой сон, и личико маленькой немки вижу перед глазами так ясно, как будто бы всё это вправду случилось.

* * *

Закат, очень сильный, хотя и короткий, каким бывает только ранний зимний закат, несущий внезапную память о лете, прожег верхние окна домов и выкрасил малиново-синим костлявые ветки деревьев.

Великой княгине Елизавете Федоровне успели уже нашептать, что в народе болтают, якобы она, Елизавета Федоровна, лечит исключительно немецких военнопленных, будучи сама по крови немкой Алисой Луизой Дармштадской. Весь день Елизавета Федоровна была особенно грустна и сосредоточенна, не разжимала скорбно опущенных губ, тихо молилась над умирающими, делала перевязки живым и только совсем уже вечером вдруг сказала Тане, которая только что собрала в кучу засохшие кровью бинты и собиралась вынести их на заднее крыльцо, где стоял бак с дезинфицирующим раствором:

– Ах, боже мой, что они делают!

– Они? – не поняла Таня.

– Они, эти люди, – прошептала Елизавета Федоровна, резко побледнев под белой косыной сестры милосердия, которая оставляла открытым ее сухой гладкий лоб с нахмурившимися бровями. – Ах, боже мой, что это будет! – И тут же спохватилась: – Идите, идите, пора отдыхать.

Таня глубоко вздохнула, не зная, что ответить, но что-то сильно насторожило ее в словах великой княгини, и по дороге домой – она шла пешком через всю Ордынку – думала о том, что Александр Сергеевич, встретившийся вчера случайно, может только еще больше запутать ее и без того непростую и безрадостную жизнь.

Дома было холодно, с дровами начались перебои, и няня в двух вязаных кофтах и платке ждала ее с чаем и ужином.

– Вот ведь и рядом с лесами живем, – пробормотала няня, – а дров нету! Говорят, ежели бы начальники во всё свой нос не совали, так дров бы хватало. Яиц по пятку дают, а целый поезд с яичками на станции стоит. Что он там стоит, когда разгрузить не разгружают? Совсем одурели!

В прихожей зазвонил телефон.

– Тебя, – сказала няня и укоризненно посмотрела на Таню из-под низко повязанного платка. – Уж раз позвонил, тебя не было.

– Кто?

– А мне не докладывал. Вежливый, умный: благодарствуйте, говорит, буду ей еще звонить. Беги! То-то ждешь не дождешься!

– Татьяна Антоновна? – сказал негромко Александр Сергеевич, и Таня почувствовала, как он усмехнулся одними губами. – Простите, что поздно. Я видел, как вы шли с работы, и, правду сказать, всё время шел за вами, но вы были такой невеселой, что я не решился побеспокоить. Сейчас вот не выдержал, впрочем...

– Не нужно звонить мне, – оглянувшись на няню, зашептала она. – Я объяснила вам вчера: у меня жених, Александр Сергеевич! Чего же вам еще?

– Таня! – Она увидела, что он уже улыбается страшной для нее улыбкой. – Ведь я не опасен нисколько. Я просто одинокий старый человек, жена умерла, сын воюет. Вы мне симпатичны, мне с вами легко. Что ж дурного, если мы посидим, пообедаем в каком-нибудь приличном месте, и я вам пожалуюсь на свои грустные обстоятельства?

– Хорошо, – убито согласилась Таня, чувствуя, что ухо с телефонной трубкой и прядь волос, прилипшая к ней, становятся мокрыми. – Я завтра попробую освободиться пораньше.

Отец пришел поздно.

– Немцев высылают, – сказал он. – Купцы, говорят, разъярились. Им-то патриотизм только на руку: раз бойкот немецким магазинам объявили, значит, русским магазинам одно раздолье! Слухи пошли, что немцы отравляют колодцы, пускают в них холерные бактерии. Бред какой-то. Так и до погромов недалеко.

– Папа, – Таня прижала к щекам ладони, – у этой... у мамы ведь немецкая фамилия! Они же ведь – Зандер!

Отец огорченно отвел глаза.

– Да, Зандер. Папаша ее мужа был немцем. Но обрусевшим, разумеется, православным. Сейчас это, впрочем, не так уж и важно.

Лицо отца приобрело знакомое Тане выражение: оно герметически закрылось изнутри, и только глаза, которые остались открытыми, беспокойно заблестели при упоминании о матери, словно в отцовской душе был спрятан какой-то находящийся в состоянии постоянной неустойчивости снаряд, с которым он так и не научился обращаться.

– Надеюсь, не дойдет до большой крови, – добавил он. – Хотя с этим диким народом... Иди, Таня, спать. Сама на ногах не стоишь...

В комнате было холодно, но она сбросила с себя одеяло, села на постели в ночной сорочке и, чувствуя себя так, как будто она вся нарывает, принялась думать. Владимир Шатерников был ее мужем, они соединились тогда, на берегу спящего пруда, так, как соединяются только муж и жена, и, если бы не война, у них уже мог бы родиться ребенок. Сейчас Шатерников далеко, в Галиции, и ранен. Она с жадностью читала его письма, но мучилась, что не понимает его. Его

рассуждения о войне, о жизни пугали ее. Между строк она угадывала, что он и обращается-то словно не к ней, а к той девушке, которая существует в его воображении. Он был актером и привык, чтобы люди смотрели на него, слушали, что он говорит, и любили его. Теперь, когда не было сцены, сама его жизнь, даже болезнь и госпиталь, в котором он задыхался от запаха ран и видел столько крови и смерти, стали чем-то вроде огромного, раскрывшегося во всей силе театра, в котором он продолжал чувствовать себя на виду у других людей и обращаться к ним. Таня не могла объяснить, что это она вдруг угадала внутри его писем, но знала, что то, что она угадала, есть чистая правда. Он любил ее, но Танина роль в его жизни рисовалась ему чем-то грандиозным и тоже почти театральным, не имеющим ничего общего с ее простым нетерпеливым ожиданием. Чем больше времени проходило с их последней встречи и последнего горячего поцелуя, тем дальше от него становилась та девушка, которая действительно была ею, но и тем отчетливее вырисовывался образ той, которая с полуслова понимала его философские мысли, была тверда духом и ничего не боялась. Таня хотела, чтобы он писал ей просто о своей любви и неустанно ободрял ее, а получилось, что сама их любовь стала частью войны, и в конце концов от этой любви остался только страх, что Владимира убьют или что он вернется к ней таким же обрубком, которых она каждый день видела в госпитале. Запах гниющего тела преследовал ее даже на чистом хрустящем морозе, и по дороге домой она старалась очень глубоко дышать, потому что, когда очень глубоко, всей грудью дышишь, этот запах, которым, казалось, успело пропитаться всё: и небо, и снег, и мороз, и деревья – понемногу выветривается.

Александр Сергеевич был влюблен в нее, и так открыто влюблен, что всё, что он делал: смотрел, улыбался, задумывался, чертил по снегу носком ботинка, и особенно то, как он весело и настойчиво, понизив голос, сказал сегодня по телефону, что он «не опасен», – всё это раздражало, затягивало, отнимало силы, но тут же и прибавляло их, и она становилась другой. Теперь – при одной мысли об Александре Сергеевиче – Таня чувствовала, как много в ней крови, тяжелой, дрожащей, горячей и сильной, раскачивающей тело из стороны в сторону, шумящей в ушах, застилающей зрение...

К тому же она поняла, что наступили совсем другие времена и всех теперь могут убить. Перед глазами мелькал кудрявый мальчик Веденяпин, выскочивший на мороз из кондитерской. И Васю убьют. Его *можно* убить.

«А раньше мы все просто *жили*. И было очень хорошо, пока я не пошла в театр и не встретила его».

Ей вдруг стало казаться, что и война, и раны, которые она промывает и перевязывает, и общий озлобленный страх, и усталость – всё это началось не в августе, а гораздо раньше, и началось только оттого, что она встретила в театре Александра Сергеевича.

«У Волчаниновой убили одного брата, а другой вернулся слепым, и папа сегодня сказал, что мою мать могут выселить из Москвы, потому что у них немецкая фамилия. А няня сказала, что немцы отравляют в деревнях колодцы, и хотя она сама не верит этому, но люди, которые это говорят, не станут врать, и в городе скоро совсем не останется дров, а раненых только привозят, привозят...»

Истинная причина того, что всех теперь можно убить и всё так запуталось, была та, что Александр Сергеевич пошел провожать ее из театра и всю дорогу пожирал ее своими темными глазами, и плыл этот робкий, задумчивый снег, а она слушала, боясь не понять, сказать что-то не то, разочаровать его, и чуть не запрыгала от радости, когда он попросил ее прийти завтра в кондитерскую, где и случился самый что ни на есть безобразный скандал, и его жена, которая следила за ними, выскочила из дамской комнаты с криками и оскорблениями. Потом были мама и Дина, вернувшиеся с зарубежных курортов, и у нее чуть не разорвалось сердце, когда мама попыталась обнять ее своими чужими холодными руками. Но это не всё! Самое ужасное случилось потом, когда по дороге на курсы ее догнала жена Веденяпина и, отдувая вуалетку

прыгающими губами, начала объяснять ей ужасные вещи про свою жизнь с Александром Сергеевичем. Про то, как она поднималась с постели наутро и вся была «липкой». О господи!

Таня рывком выдвинула ящик тумбочки и из коробки, в которой когда-то были конфеты и потому она и сейчас еще пахла, слабо, но неотвязно, шоколадом, высыпала фотографии Шатерникова и все его письма. Жених ее смотрел куда-то в сторону, мимо Тани, словно он тоже знал, что не будет ничего хорошего, и соглашался с этим.

– Не думать, не думать! – прошептала она в ночную темноту, где что-то назревало внутри снега, волновалось, двигалось и было намного темнее ночной темноты, потому что родилось не в природе, где Бог приказал нарождаться живому, а в гуще людей, в гуще снов человеческих. – Не думать об этом!

Пятое письмо Владимира Шатерникова:

Рана моя почти зажила, и очень может быть, что начальство даст мне короткий отпуск, тогда я смогу хоть на неделю вырваться к тебе в Москву. Только что мне рассказали, как погиб мой товарищ по гимназии Алешка Свиридов, добрый, умный, смешной мальчик, который жил неподалеку от нас на Фонтанке и славился тем, что и летом, и зимой разгуливал без пальто.

Дело было так: на рассвете первого сентября он вышел на разведку со взводом партизан. Часть людей послал в обход немецкого расположения, а с оставшимися пошел в атаку. Говорят, перед ним неожиданно оказалась рота немцев, ринувшаяся на него в итыки. Он не успел даже скомандовать, как тут же упал. В него одновременно попали две пули. Через час Алешка Свиридов умер от потери крови.

Я возвращаюсь на фронт с тяжелыми сомнениями: должны ли мы воевать? В госпитале познакомился с одним типично русским характером, который многое мне объяснил в нашей национальной истории. Представь себе человека, вечно как бы слегка хмельного – хотя что он тут пьет, где достает спиртное, ему непостижимо! – маленького, но крепенького, как лесной гриб, с редкими курчавыми волосами и быстрыми, часто почему-то рассеянными глазами. Образования почти никакого: выгнали его из третьего класса губернского реального училища за то, что он подговорил пьяного вдрызг ямщика вломиться в директорскую квартиру и крепко, по-русски выругать насмерть перепуганную директоришу. После этого эпизода Никанорыч (так мы зовем его) считает себя социалистом. На фронте он оказался по самой простой причине: с детства испытывает лютую ненависть к неведомым немцам. Окажись наши сегодняшние неприятели французами, англичанами, итальянцами – да кем угодно, хоть жителями Новой Зеландии! – он питал бы к ним те же самые чувства. Что такое, почему? Видит бог, никогда я не понимал этого и никогда не пойму. Во многих людях, похоже, коренится какое-то особое свойство, которое забивает все остальные нормальные человеческие чувства. Свойство это – нелюбовь к инородцам, какими бы они ни были. Может быть, это что-то атавистическое? Племенное разделение на своих и чужих, идущее с тех времен, когда нужно было оберегать свое и грабить чужое? Никакого другого объяснения не приходит мне в голову.

Утро наше в палате начинается с того, что хмельной, но уже аккуратно расчесанный на пробор Никанорыч хватает свою гитару и голосом, не лишенным приятности, начинает петь про Волгу, где он, кстати сказать, отродясь не бывал, потому что вообще нигде, кроме своего городишки, не бывал: «Она ми-и-и-а-ая мо-о-оя! Волга-а-а ма-а-атушка!»

Работать он никогда не хотел и не любил, но всё повторяет, что ему нужно как можно скорее жениться на богатой и, как он говорит, «сытой» женщине, которая и его будет кормить до самой могилы. При этом он совершенно не боится смерти, вернее сказать, смерть не присутствует в его сознании, и он, говоря о ней, только отшучивается: «живы будем – не помрем», «умирает не старей, а поспелый», «не в горку живется, а под гору», «смерть придет

– и на печи найдет». Не знаю, сможет ли Россия, в которой, как я теперь догадываюсь, огромное число таких «никанорычей», когда-нибудь дорасти до своей неопознанной духовной сути? И в чем она, эта ее суть? Может быть, ничего того, о чем так любят рассуждать наши славнофилы и прочие философы, не было и нет, а есть только глухие одинокие вспыхивающие вспыхивающие какого-то необузданного духовного подполья? И хаос, и бешенство, и лень, и эта кроткая и одновременно бесшабашная смелость, типичная для русского солдата, который сам не знает, за что воюет, но воюет на совесть, «раз начальство приказало», – всё это я понимаю теперь совсем иначе, чем раньше, и мне было бы, о чем поговорить и даже поспорить с «великим старцем», которого я еще недавно играл с налепленным носом и приклеенными бровями.

При этом я рад, что вырываюсь наконец из госпиталя. Сил больше нет терпеть этот едкий человеческий запах, испарения плевков (как ни моют наш пол, он всё равно всегда заплеван!), запах недоеденных щей, сброшенных сапог, топот по коридору больных и раненых, которые всю ночь ходят в отхожее место, стоны, бред, выкрики, душу выматывающий храп, то звонкий, то густой, то сплошной, то прерывистый, храп из всех углов...

Прости мне, что пишу это. Если я, даст бог, доберусь до тебя, клянусь всем на свете: ни о чем таком мы не станем с тобой говорить.

* * *

Александр Сергеевич ждал ее у госпиталя. Было холодно, снег, начавший таять вчера вечером, покрылся сверкающей коркой. Улицы едва освещались, и сине-черные тени прохожих, отбрасываемые на ледяную поверхность, напоминали черные стволы обрубленных деревьев.

Александр Сергеевич осторожно взял Таню под руку.

– Тут два шага до «Праги». Прогуляемся?

Она молча кивнула.

– Я еще вчера хотел вам заметить, как вы изменились, – сказал Александр Сергеевич, подстраивая свой широкий шаг под Танин. – Вы уже не девочка, как были год назад, и мне это нравится. Я чувствую себя гораздо спокойнее и проще с вами.

Она не нашла, что ответить на это. Вечер, только что тихий, хотя и холодный, вдруг разволновался, поднялся ветер, зашуршал замерзшими листьями, собранными в кучу под фонарем, и принялся дуть так, как будто пытался напомнить о море: протяжно и гулко, то нарастая в шипящем звуке, то вновь затихая...

Шли быстро и не успели замерзнуть, как уже дошли до «Праги», тускло по военному времени освещенной двумя неоновыми фонарями. У подъезда ресторана стояли извозчики, их лошади с седыми ресницами прямо смотрели перед собой. Тяжелые, гладкие спины казались сиренево-черными.

В зале было прохладно, клиентов немного: несколько военных сидели у окна и очень громко разговаривали, видимо, горяча себя этими разговорами, и нахмуренный господин, который мрачно и неторопливо ел суп, не обращая внимания на перегнувшуюся к нему через весь стол женщину, гибкую, очень худую и похожую на ящерицу своим темно-зеленым, переливающимся платьем.

Таня и Веденяпин сели в углу, подскочивший официант ловким движением поменял скатерть, до блеска протер бокалы.

– Вы ведь здесь, наверное, тоже сухой закон соблюдаете? – спросил у него Веденяпин.

– Соблюдаем-с, – быстро усмехнулся официант. – Однако шампанского можно. Шампанское под закон не подпадает.

– Ну, что же, – вздохнул Александр Сергеевич. – Неси нам бутылку шампанского, братец. «Абрау-Дюрсо».

Официант убежал.

– Смешное у нас начальство, – заметил Александр Сергеевич. – Ну вот, ввели они сухой закон. Сначала все вроде с восторгом приняли: «Война! Воевать нужно трезвыми!» И что? Двух недель не прошло, и начались безобразия. Кто денатурату хватит, кто от столярного лака воем воеет! А спекуляция спиртом? Бог знает чего они туда подливают! Вам батюшка не рассказывал, сколько у него в больнице народу от сухого закона на тот свет отправилось?

– Нет, он не рассказывал, – тихо ответила Таня.

Официант примчался с бутылкой шампанского на подносе, стал в позу, осторожно освободил пробку от фольги и, крепко сжимая обмотанную проволокой пробку, начал тихо поворачивать бутылку по ходу часовой стрелки. Пробка осторожно выскользнула, бутылка издала легкий и жалобный вздох, как будто ее кто-то сильно обидел. Шампанское было ледяным, сладковатым и сразу ударило в голову. Таня вдруг почувствовала себя веселой и свободной. У Александра Сергеевича нежно заблестели глаза.

– Ну, что же? – Он приподнял брови. – Давайте заказывать. Чертовски я голоден нынче! А вы?

– Нет, я не чертовски, – ответила Таня и снова покраснела до слез.

– Но нужно поесть, – пробормотал он, вглядываясь в меню. – Здесь повар хороший, отлично готовит.

– Осмелюсь рекомендовать суп тортю с пирожками, а также цыпляток кокет Монекар, – осторожно улыбаясь, вмешался официант. – Коронные блюда.

– Да, это прекрасно! – кивнул Александр Сергеевич. – Прекрасно, хотя недостаточно. Еще принесешь перепелок, есть ведь у вас жаркое из перепелок? Салату «Латуг», пирожков. Ну, и сыр. Хотя нет, постой! Ликеру и сыру подашь в кабинет. Попозже, когда отобедаем, понял?

– Всё понял, – сдержанно наклонил голову официант и снова умчался.

– Ну, чокнемся? – спросил Александр Сергеевич, внимательно и серьезно глядя ей в глаза. – Чужая невеста, любовь моя с первого взгляда...

– Ой, нет! – прошептала Таня. – Не шутите так!

– Какие тут шутки? – Он засмеялся. – Всё – чистая правда! Да вы не пугайтесь! Прекрасное «Абрау-Дюрсо»! Нравится вам?

Она выпила целый бокал, опустив ресницы, и только потом взглянула на Александра Сергеевича. Голова закружилась еще больше.

– Знаете, что самое хрупкое на свете? – спросил он. – Тело! Да, наше с вами тело. А люди носят с телом, как с писаной торбой, кормят, поят, лечат! Ради него убивают ближних, идут на преступления, лгут, прелюбодействуют! А ведь на самом-то деле что такое тело? Коробка для души, вроде дупла или норы. Вот возьмите что угодно, ну, руку хотя бы. – Он осторожно накрыл ладонью Танину руку и слегка потянул ее к себе. – Сломать можно очень легко. – Он слегка приподнял и отогнул ее кисть. – Нажал – и ломается. Отрезать легко. Вообще, всё, чем можно навредить телу, всё делается до ужаса легко! И вот вам: война. Что такое война? Желание накрошить как можно больше людей, то есть опять-таки – чужих и слабых тел. Ответьте: зачем?

Таня смотрела на него во все глаза, стараясь понять, что это он говорит сейчас и, главное, нужно ли отвечать ему.

– Давайте-ка выпьем за душу, – Александр Сергеевич перестал смеяться. – Ведь это как сказано? «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Ну, выпьем?

Он разлил остатки шампанского по бокалам.

– Не нужно, – пробормотала Таня, – я больше не буду.

– Дорогая моя! – Александр Сергеевич снова накрыл ее руку своей легкой и горячей ладонью. – Вы только не бойтесь меня. Всё будет, как скажете. Беда в том, что я и сам давно живу в постоянном страхе.

– Вы? В страхе?

– И в каком! Мне иногда начинает казаться, что всё, что я вижу и знаю, всё это неправда. Я вот знаю, например, что Нина, жена моя, уже полгода как умерла. А мне вдруг приходит в голову, что это не так, что она жива. И знаю, что чувшь, а не могу избавиться! То же и с Василием. Проснусь, бывает, посреди ночи в холодном поту: а не пришло ли мне вчера извещение, что его убили? А я забыл? Встаю, иду в столовую, выпиваю рюмку водки, отпускает. Потом самому же и становится стыдно. Сейчас вот смотрю на вас, а в башке такое, знаете, противное шуршание: а вдруг вы мне снитесь?

Он медленно поднес ее руку к губам и поцеловал. Официант ловко водрузил на стол белую, в голубых цветочках супницу. Снял крышку.

– Еще нам бутылку шампанского, братец, – попросил Александр Сергеевич, не отнимая от губ Таниной руки и удивленно приподнимая брови.

– Зачем вы спросили еще бутылку? – начиная дрожать, пробормотала она. – Ведь я пить не буду!

– Пускай принесет, – пробормотал он, крепче надавливая поцелуем на костяшку ее мизинца. – Я вам не противен?

– Вы мне? Почему?

– Старик! – засмеялся он. – Вон лысина. Видите? Без очков ни строчки не могу прочесть. – Он помолчал. – А это и в самом деле вы? – И перевернул ее ладонь в своих пальцах, поцеловал то место, где бьется пульс. – Не снитесь вы мне? Я не грежу?

– Александр Сергеевич! Давайте уйдем отсюда! Я не знаю, как объяснить, но это неправильно, что я здесь с вами... не нужно...

– А вы, барышня, оказывается, ногти грызете?

Она вспыхнула и отдернула руку.

– Пальчики детские. Любите ногти грызть?

– Я?

– Ну, не я же. Хотите, я вас полечу?

– Нет! – вскрикнула Таня. – Я ничего не хочу от вас! Я хочу уйти. Больше ничего!

Александр Сергеевич кивнул насторожившемуся официанту.

– Счет мне, пожалуйста.

– А как же цыплят? Не желаете разве? – вскинулся официант.

– Ну, Таня, решайте! – спокойно, словно она была маленькой девочкой, сказал Александр Сергеевич. – Желаем мы кушать цыплят или нет?

Женщина в зеленом платье, виляя бедрами и от этого еще больше переливаясь, пошла к выходу, сопровождаемая нахмуренным господином. Александр Сергеевич внимательно посмотрел им вслед. Теперь во всем зале остались только военные у окна и Таня с Веденяпиным.

– Так что? Остаемся? – спросил он.

Таня чувствовала, что, чем дольше она сидит здесь и смотрит на него, чем дольше он держит в руках ее руку, тем безвольнее она становится, но объяснить, почему это так, не могла: ощущение нарастающей слабости, сопряженное с тихим восторгом, от которого всё время хотелось смеяться, напоминало те минуты, когда пора было просыпаться, идти в гимназию, а на улице снег, темень, ветер, и она пряталась под одеяло, зажимала уши, чтоб только продлить замирание ночи, блаженство тепла, темноту, шум мягко горящих поленьев из печки...

Она кивнула в ответ на его вопрос и чуть не всхлипнула вслух от волнения, когда он раскрытыми губами снова прижался к ее мизинцу и, едва дотрагиваясь, несколько раз медленно провел по нему кончиком языка. Она выдернула руку.

– Пойдемте отсюда. Здесь слишком накурено, – сказал он спокойно.

В кабинете, куда официант принес кофе, корзинку с пирожными и новую бутылку шампанского, Александр Сергеевич осторожно погладил ее по щеке. Она отшатнулась.

– Милая, – отводя глаза, пробормотал он. – Вы разве боитесь меня? Что вы, право...

Она забилась в угол дивана, стиснула руки.

– Вы сейчас похожи на птенца, – мягко сказал Александр Сергеевич, – на большого, уже выросшего птенца, который еще не знает, что он уже умеет летать. А когда он узнает, у него сразу же расправятся крылья и он станет сильной, прекрасной птицей. Давайте пить кофе.

– Нет, лучше поедем, – всё больше краснея, решительно сказала она и тут же как будто проснулась. – Отвезите меня домой, я очень устала.

Он не сделал даже движения, чтобы приподняться с дивана. Сидел и спокойно смотрел, как она, пылая, натягивает жакет, набрасывает шарф на растрепанные волосы.

– Иди ко мне, девочка, – негромко сказал он.

Она покорно опустилась на краешек его выставленного колена, как будто на краешек стула.

– Боже мой, какая легкая! – Он вдруг побледнел. – Какая ты легкая, нежная, милая...

Таня попыталась вскочить, но он удержал ее за талию обеими руками.

– Я же сказал: не бойся меня. Я тебе ничего не сделаю.

Она не могла говорить, губы ее прыгали. Александр Сергеевич побледнел еще больше. Потом притянул ее к себе и поцеловал в шею. Обеими руками она уперлась ему в грудь и сквозь выступившие на глазах слезы посмотрела на него.

– Ну, что? Очень страшно? – спросил он.

– Не страшно. А просто – нельзя.

– Нельзя – так не будем, – покорно сказал он и улыбнулся насмешливо, словно передразнивая кого-то. – Мы – люди с понятием.

* * *

Василий Веденяпин только что узнал, что 20-й корпус, про который думали, что он весь погиб, оказывается, жив, но понес огромные потери у деревень Богатыри и Волкуши и просит помощи. Это известие всех очень взбодрило. В штабе началось волнение. Все заговорили о том, что нужно немедленно идти на выручку, раз корпус так близко от наших передовых линий и до него всего-навсего шесть верст.

– История, Васька! – крикнул пробежавший мимо Веденяпина Багратион и с силой ударил его по плечу. – Своих будем спасать! Помогай Бог! Через час выступаем!

Через полчаса казаки донесли, что 20-й корпус, расстреляв все патроны, закопал оружие и знамена и сдался в плен. Наступление приостановилось, и было приказано отвести войска назад за форты. Около десяти часов вечера в штаб прибыл поручик 113-го Старорусского полка, остатки которого пробивались к своим. По его словам выходило, что 20-й корпус, не переставая, вел бой, взял в плен полторы тысячи немцев, одиннадцать орудий и всё еще отбивается. В штабе начались разногласия. Большинство утверждало, что своих бросать нельзя и нужно торопиться на выручку. Если 20-й полк услышит канонаду, он немедленно воспрянет духом и попытается пробиться к Гродно. Бедного поручика, совсем еще безусого, веснушчатого мальчика, забросали вопросами, больше всего интересовались тем, каково настроение в корпусе, хотят ли солдаты сдаваться или стоять до последнего. Поручик отвечал, что настроение у солдат бодрое и они очень намерены продолжать. Наступление было назначено на завтра.

Василий Веденяпин вышел из барака, сел на поваленный ствол и принялся думать. Впервые в жизни пришло в голову, что это, может быть, и есть его самая последняя ночь. От этой мысли по всему телу побежали мурашки, а в голове поднялся легонький звон, словно целое полчище раскормленных летних комаров залетело в левое ухо и теперь пытается вылететь через правое. Руки его быстро замерзли, и он поднес их ко рту, согревая дыханием.

Нужно было как-то соединить то, что и небо с редкими слезливыми звездами, и эти голые деревья, и воздух, настоящий на сырой древесине и потому так сильно пахнущий землей и корнями, останутся прежними, а его, видящего и чувствующего всё это, больше не будет.

– А где же я *буду*? – спросил он, и ветер с благосклонным и успокаивающим шумом растрепал его волосы, словно родной. – Я буду – где мама?

– Ты будешь «нигде», – ответил ему этот ветер, и черные деревья, и сказочно большие звезды на небе. – И мамы твоей больше нет.

Василий вскочил и принялся ходить по влажной черной земле, присыпанной кое-где, как сахаром, крупным вчерашним снегом.

На память пришла фотография, присланная маминной кузиной. На ней была внутренность небольшой часовни, посреди которой на возвышении стоял небольшой нарядный гроб, и в нем, отдаленно белея сомкнутыми веками, лежала женщина с гирляндой мелких цветов, окружившей ее расчесанную на прямой пробор голову. Лицо, немного размазанное на фотографии, было равнодушно-приветливым, как будто она спала, но восковые цветочки на лбу, страшные тем, что их невозможно представить себе на живом человеке, и эти спокойные, умиротворенно и нежно сложенные на груди восковые руки как-то *особенно внятно* сказали Василию, что это совсем не она, а то, чем ей *дали* на время прикрыться, как можно прикрыться чужою одеждой.

В кармане его была оплетенная фляжечка с одеколоном, недавно подаренная Багратионом: в армии строго соблюдался сухой закон. Соскальзывающими пальцами он торопливо отвинтил крышку и, обжигаясь, стал пить. Отпив половину фляги, с выпученными от пахучего огня глазами и пылающим горлом, он спрятал одеколон в карман и побежал по направлению к бараку, в котором жили окопники. Арина ждала его: стояла перед дверью барака, до самых бровей закутанная в темный платок.

– Не знала, что думать! – тихо сказала она, обняв его и пряча голову на его груди. – Вчера не пришел...

– Я не мог, – ответил он. – На рассвете выступаем.

– Да знаю, сказали! – с досадой пробормотала Арина. – Всё сердце изныло.

Он изо всех сил притиснул ее к себе.

– Дышать тяжело, – нервно засмеялась она, высвобождая лицо, и, подняв его, посмотрела на Василия своими заблестевшими в темноте глазами. – Ну ладно, пойдем, прощаемся.

В голом, обезображенном зимней смертью леске было совсем темно. Арина осторожно, ощупью разостлала на земле свою телогрейку, потом сняла стеганую кофту, прорванную во многих местах, с ватой, торчащей из-под черной материи, положила ее поверх телогрейки и, опустившись на приготовленную постель, принялась стаскивать башмаки.

– Ты хочешь разуться? – спросил он, садясь рядом и обхватывая ее за плечи.

– Чтоб всё по-людски, – строго ответила она и, стащив, наконец, башмаки, обеими освободившимися руками обняла его. – Совсем и не холодно, мигом согреемся.

Он быстро разделся, опрокинул ее навзничь и лег на нее. Холодно не было совсем. Ничто так не волновало его, как запах ее волос и смуглого тела, с самого первого раза показавшийся ему похожим на запах бузины, растущей у них за калиткой на даче. Сейчас, в темноте леса, он был особенно чудесным. Весь низ ее живота оказался влажно-горячим, и он с благодарностью, торопливо и настойчиво найдя то, чего искал, ощутил уже знакомую ему, но всякий раз пугающую бездну, которую заключало в себе это небольшое и покорное ему тело.

– Ох, горе! – выдохнула Арина, когда он, наконец, скатился с нее, весь потный, счастливый, бесстрашный и сильный. – Ох, горе моё!

* * *

Владимир Шатерников телеграфировал с дороги, что в пятницу приезжает в отпуск и остановится в гостинице «Большая Московская».

Таня так и не была уверена, что отец догадался об их отношениях, но то, что Шатерников до сих пор не разведен, хотя и не живет с женою, он знал, и эта открытая близость его дочери к женатому человеку должна была быть оскорбительной для отцовского самолюбия.

Они не виделись почти полгода. Раньше она очень ждала его. Она помнила, как по ночам не могла уснуть от тревоги, как дико колотилось сердце всякий раз, когда она получала письмо из госпиталя, как она боялась потерять его. Боялась! С утра и до вечера представляла, как они наконец встретятся и что она скажет ему. И как он обнимет ее. Вся та ночь, соединившая их телесно, была вдоль и поперек перечитана ее душою, как бывают перечитаны любимые книги, и полностью, до деталей, восстановлена памятью. Была чернота, духота, были звуки: то птиц, очень мелких, хотя и настырных, то шорох сверху облаков или листьев, лягушки смеялись, стонали и пели, – и, когда лодка мягко въехала в осоку, Шатерников, взяв ее на руки, выпрыгнул на берег. Они опустились на траву, как будто на чей-то огромный живот, который тихонько шуршал и вздымался. Лилии белели в черноте, их запах, как ветер, доносился с середины пруда. Потом была боль, но такая быстрая, что она почти и не почувствовала ее. Потом была кровь на ромашке. А утром Шатерников пришел к отцу и сказал, что уезжает на фронт. С этой минуты началась тоска. Она была тихой тоской ожидания, и Таня успела привыкнуть к ней, как к необходимости новой жизни, раздавленной войной.

И вот вдруг случилось ужасное, непоправимое. После обеда в ресторане, где она сидела на коленях у Александра Сергеевича и он осторожно целовал ее в шею, тоска ожидания заменилась стыдом. Она предала Шатерникова, позволив чужому человеку целовать себя. Если бы он вдруг увидел ее, сидящую на коленях у незнакомого мужчины, он, может быть, даже убил бы ее. Ну, пусть не убил, но ударил бы точно. И было бы только заслуженно. С обеда прошло несколько дней. Она не видела Александра Сергеевича, он не звонил и никак не давал о себе знать. Она ждала его звонка не меньше, чем писем Шатерникова из госпиталя. О нет, даже больше. Хотя бы для того, чтобы сказать ему всё, что не сумела сказать тогда, когда шампанское ударило в голову и она растерялась. Сказать, что любит другого. Поэтому не нужно сажать ее на колени и кормить цыплятами. Ничего не нужно, всё это ужасно. И главное – стыдно.

В четверг пришла телеграмма от Шатерникова.

Утром, в пятницу, привезли новую партию раненых, и Таня, задержавшись на перевязке, сообщает, что опаздывает к поезду.

– Вас там спрашивают, Татьяна Антоновна, – сказала новенькая, только что поступившая медсестра в открытую дверь операционной.

– Идите, идите! – махнул рукой доктор, которому Таня помогала с последним раненым. – Осталась совсем ерунда, вы идите.

Шатерников стоял в вестибюле, опираясь на палку. Он еще не заметил ее. Она не ожидала, что он такого маленького роста, Александр Сергеевич был выше его на целую голову. Внутри сжалось с такой силой, что Таня остановилась на ступеньке и продолжала смотреть на своего жениха, не двигаясь, заслоненная санитарями, которые перетаскивали по лестнице носилки с больными. Кроме маленького роста, он был откровенно похож на самого себя в роли Толстого, и не столько даже чертами лица, а тем особенно упрямым и одновременно взволнованным выражением, которое, как говорили, лучше всего удалось ему в этой фильме и было результатом долгих репетиций Шатерникова перед зеркалом.

Санитары с носилками посторонились, пропуская Таню, прижались к перилам, и тут он наконец-то увидел ее. Таня одолела последние ступеньки и остановилась. Палка его упала на пол, Шатерников подбежал и обнял ее так, как будто вокруг никого не было. Она замерла с опущенными плечами, и, пока он торопливо целовал ее в голову – одной рукой прижимая ее затылок, другой с силой надавливая на ее левую лопатку, – не сделала ни одного движения. Тело как будто окаменело и не испытывало ничего, кроме неловкости от этих сильных, дрожащих от напряжения рук, которые словно ощупывали ее.

– Ну, вот! Я же знал! – сказал Шатерников и, оторвавшись, посмотрел ей прямо в глаза своими ярко посветлевшими глазами. – Я знал, что увижу тебя! Я верил всё время!

– Ты с палкой? – перебила она. – Зачем? Разве они не вылечили тебя?

– Да нет, это так, – отмахнулся он. – Мне не нужна палка, я прекрасно хожу без нее и даже могу бегать. Иначе не пустят на фронт. Скажи, ты свободна?

– Сейчас? Да, свободна. Пойдем к нам домой, скоро папа...

Он удивленно посмотрел на нее, и Таня смутилась.

– Домой? Ну, пожалуй. Я, правда, вещи хотел забросить в гостиницу, помыться. Ведь прямо с дороги... Но как я скучал!

– Так ты придешь позже? – Она сильно покраснела.

– Я думал, – он тоже покраснел, – ведь тут совсем близко. Мы можем вместе забросить мои вещи и поехать к вам. Займет полчаса.

Она кивнула, избегая смотреть на него. Он оказался совсем невысокого роста и слишком похож на великого старца.

Вышли на улицу, Шатерников подозвал извозчика. Таня села, прикрываясь муфтой от летящего в лицо солнечного снега.

– Смотри! – восторженно, глубоко вздохнув, сказал он. – Какая красота! Зима. Я в Москве, и меня не убили. Нельзя быть счастливее, чем я сейчас.

– Отчего? – Она по-прежнему прикрывалась муфтой, и вопрос ее утонул в сияющем воздухе.

– Что ты сказала? – не расслышал Шатерников.

– Я спросила, почему нельзя быть счастливее.

– Потому что... – начал было Шатерников и вдруг замолчал. – Потому что всего этого могло бы не быть. Я теперь понимаю, как это просто. Сегодня живешь, ходишь, дышишь, а завтра...

– Да, я понимаю, – пробормотала она, думая только о том, как объяснить, что она уже не любит его. – Я всё понимаю. Война...

– Война? – переспросил он. – Но сейчас для меня нет никакой войны. Есть только ты, твои губы...

Она вдруг заметила, что он немного косит, и левый зрачок его слегка уплывает в сторону, когда он говорит так громко и восторженно.

– Мне много раз приходило в голову, – Шатерников несколько раз быстро поцеловал ее в щеку и в краешек рта, – что война была нужна только для того, чтобы я убедился, насколько сильно нуждаюсь в тебе...

Извозчик остановился у подъезда «Большой Московской». Швейцар распахнул перед ними дверь и наклонил старую седую голову. Таня быстро прошла прямо к лестнице, и ей показалось, что ее горячо намокшую под блузкой спину облепило злыми взглядами. Вошли в номер. Большая деревянная кровать была застелена темно-зеленым шелковым покрывалом, из крана сочилась вода. На окно с такой силой надавливало зимнее солнце, что в комнате стало светло, как в раю, и ваза на тумбочке переливалась.

Таня замерла, не сняв даже муфты с руки. Шатерников близко подошел к ней. Лицо его оказалось чуть выше ее лица, и расширенные удивлением и страхом глаза остановились на ее переносице.

– Володя, – пробормотала она, – я страшно устала сегодня...

– Что-то изменилось у нас? – хрипло спросил он.

Таня почувствовала, как вся кровь бросилась ей в голову. Он не должен ни о чем догадаться.

– Нет, что ты. Я так волновалась всё время...

В глазах его еще стояло недоверие, но руки уже обнимали ее, и прерывистое дыхание обжигало ей губы и подбородок.

– Ты даже представить не можешь, – забормотал Шатерников, дрожащими пальцами пытаясь расстегнуть пуговицы на ее блузке и обрывая крючок, – какой это кошмар: лежать ночью среди больных и умирающих и думать, что никогда тебя не увижу! Что мне тридцати еще нет, а жизнь уже кончилась! Мне доктор сказал, что, если пойдет нагноение, то будет гангрена, а там...

Он задохнулся, изо всех сил прижимая ее к себе. Блузка упала на пол, из волос посыпались шпильки.

– Боже мой! – застонал он, осыпая поцелуями ее лицо, плечи, грудь в вырезе белой рубашки. – Я знаю, что я не смею, знаю, что, если завтра меня убьют, я этим погублю тебя, всю твою жизнь! Но что же мне делать сейчас? Ты скажи! – Он отстранился от нее. Лицо его было красным, зрачки расширились и сильно заблестели. – Скажи мне сама! Я сделаю так, как ты скажешь. Ну, хочешь, я сразу уеду? Сейчас вот возьму свои вещи и сразу уеду? Ты хочешь?

Она отрицательно покачала головой.

– Господи! – пробормотал он, с каким-то даже испугом глядя на нее. – Господи, какая же ты красавица! Я глаз таких в жизни не видел! Таких у людей не бывает! Сама посмотри!

Он развернул ее к зеркалу. Она увидела себя в объятьях маленького человека, от которого отвыкла.

– Я думал, что они просто голубые, а они какие-то сиреневые, как, знаешь, у кукол. У старинных кукол с фарфоровыми личиками, такая была у моей сестры...

Шатерников опустился на колени и зарылся лицом в Танину юбку.

– Если ты сейчас велишь, чтобы я убрался отсюда ко всем чертям собачьим, клянусь, я всё сделаю!

– Не нужно, – сказала она решительно. – Я так ждала тебя. Я очень за тебя боялась.

Вечером они втроем – Таня, отец и Владимир Шатерников – сидели в столовой и пили чай с абрикосовым вареньем.

– Я вам рекомендую намазать на черный хлеб, – сказал отец. – Я с детства любил. Удивительно вкусно. И именно вот – абрикос, остальные не так... Нет того аромата.

Шатерников покраснел и откашлялся.

– Антон Валентинович, я здесь всего только несколько дней, уезжаю на фронт...

– Да, слышан, – хмуро кивнул отец. – Рана ваша, как я понимаю, еще и не зажила до конца. Куда вы торопитесь?

– Но нужно же... На фронте плохие дела...

– И будут плохие! – злым голосом перебил отец и закашлялся. – Откуда хорошему взяться? Вся Европа передралась. Люди гибнут. А что? А зачем? Мне говорят: а как же Великие Исторические События? Вы что, не видите, как на наших глазах свершаются Великие Исторические События? Событий не вижу. А крови и муки хватает. И я вам больше скажу: что бы там ни вышло, каким бы ни был исход этой бойни, но никакого «великого» или, как там говорят, «идеального» осуществленного блага не получится! И ждать его нечего!

– Но если мы всё же победим... – угрюмо и нерешительно, глядя в пол, пробормотал Шатерников.

– Какое там – «мы победим»! Один варвар победит другого! Вы знаете, что именно на таких победах вся история держится? Пока что у нас вместо победы – живодерство и спекуляция. В Германии, говорят, хоть какой-то порядок поддерживают, а у нас – что? Продукты-то есть, а спекулянты голод устраивают! Вот уже неделю как пропала ржаная мука. Ждали-ждали – и побежали покупать пшеничную. Ржаная стоит девять рублей, а пшеничная – одиннадцать. Куда денешься? Четыре пуда купили. Люди-то быстро портятся, слабые душонки, грешные. Ободрал ближнего да тут же бежит в церковь каяться. Весь лоб в синяках от поклонов! Ну, пусть бы одни только лавочники, с них спрос небольшой. А то вон нынче мужик, который уголь у нас выгружает, запросил вместо девяноста копеек рубль двадцать за мешок. «А завтра, – говорит, – барин, я с вас рупь пятьдесят возьму. Война! Нельзя иначе». При чем тут война? Что ему, с его углем, война? А я вам скажу: всё самое скверное сейчас из людей полезло. Выворачивает их наизнанку. Рвота и понос человечества – вот что такое эта ваша война! Никто никого не стесняется.

– Антон Валентинович, – не отрывая глаз от пола, сказал Шатерников. – Я и не спорю с вами. Я даже готов согласиться с тем, что вы правы. Но я не могу согласиться, что вы правы полностью. Я видел другие примеры.

– На то исключения, чтобы подтверждались правила. Примеров и я много видел. Тем только жалче. Когда же вы едете?

– В субботу, – ответил Шатерников и исподлобья посмотрел на Таню.

– Недолго отдохнете... – пробормотал отец, опустив в чай золотисто-красный сморщенный абрикос из вазочки. – Могли бы еще задержаться...

– Нет, больше не мог бы. Я и так отпуск получил с трудом. Мне нужно сказать вам, Антон Валентинович...

– Раз нужно, скажите. – Отец впился в него глазами.

– Я был бы счастлив уже сейчас обвенчаться с Таней, – хрипло, запинаясь, сказал Шатерников. – Но я не разведен с женою, и поэтому...

– Выйди, пожалуйста, – негромко попросил отец Таню. – Нам лучше обсудить это без тебя, не обижайся.

Она поднялась, не глядя ни на отца, ни на Шатерникова, выбежала из столовой и, выбегая, чуть не упала, споткнулась о край завернувшегося ковра. Оба они посмотрели ей вслед.

– Я никаких пышных речей произносить не собираюсь, – сказал отец, и кровь медленно отлила от его лица. – Она – мой единственный ребенок, и я с самого ее рождения уяснил себе, что цель моей жизни одна: уберечь ее от страданий. Но видите? Человек предполагает, а Бог располагает. Ей девятнадцать лет, а на ее долю уже выпало... Сперва ее мать, теперь вы... А я ничего не могу. Зачем вы, простите меня, зная, в каких вы теперь обстоятельствах, взялись морочить ей голову? Ведь вы уедете, а ей с этим жить...

– Я не морочил ей голову, – тихо и тоже бледнея, ответил Шатерников. – Я очень хочу обвенчаться. Но нужен развод.

– Нужно еще, чтобы вы остались живы! А это – увы! – не в моей и не в вашей власти.

Он помолчал. Шатерников прикусил губу.

– Вы спрашиваете, – продолжал отец, – соглашусь ли я, чтобы моя дочь при условии вашего состоявшегося наконец развода и при другом, гораздо более важном условии, то есть если вы останетесь живы, соглашусь ли я на то, чтобы она стала вашей женою, так?

– Да, так.

– А я вам отвечу: у меня нет выбора. Потому что никто меня не спросил ни тогда, летом, ни сейчас. Я вашу братию, актеров, честно сказать, не очень жалую. Что это за дело такое для взрослого серьезного человека – всё время изображать кого-то другого? Так и от самого себя

ничего не останется. Подождите! – Он слегка повысил голос, увидев, что Шатерников порывается что-то сказать. – Говорят, что из двух зол нужно выбирать меньшее, а я вам возражу, что не бывает меньшего или большего зла. Зло есть зло. Вы ждете моего ответа на ваше, так сказать, «предложение», которое вы, женатый человек и к тому же отбывающий в субботу на фронт, делаете моей дочери, не так ли? Меньшее зло – это ответить вам, что я согласен. Большее зло – попросить вас не попадаться мне на глаза и оставить мою дочь в покое.

Он вздохнул и обреченно развел руками. Шатерников молчал.

– Я вам отвечаю: согласен. Но вы должны знать, что, будь это в моей власти, я с удовольствием спустил бы вас с лестницы.

– Благодарю и на этом, – пробормотал Шатерников.

Отец быстро и остро посмотрел на него.

– Володя, голубчик, – вдруг совсем другим, испуганным, огорченным голосом сказал он. – Ведь страшно же мне за нее! А вам что, не страшно? Ведь если...

И не договорил, зажмурился. Шатерников поставил локти на колени и закрыл лицо обеими ладонями.

– Ну, вот. Услышали меня наконец, поняли, о чем речь, – тяжело выдохнул отец и, поднявшись, потрепал Шатерникова по низко опущенной голове. – Татьяна Антонна, пожалте-ка к нам! Давайте чай пить.

Шестое письмо Владимира Шатерникова:

Моя радость! Вот уже два дня, как я прибыл к себе на батарею. Ехал почти неделю. Мысли о тебе доходят до такой силы, что каждую ночь, во сне, по моему телу с грохотом и звоном текут какие-то словно горные реки. Сплю под этот грохот, просыпаюсь, опять проваливаюсь. Вижу тебя: как ты, сидя на полу, наклоняешь голову над моим чемоданом, как снимаешь и надеваешь колечко на средний палец левой руки, и я теперь знаю, что ты делаешь так всегда, когда волнуешься или боишься, что не можешь найти правильных слов. Неужели ты еще не догадалась о том, что мне иногда и вовсе не нужны никакие слова, что я угадываю и читаю твое сердце просто так? Даже когда мы молчим. Но особенно часто меня посещает другое: я вижу, как ты спускаешься ко мне по этой большой госпитальной лестнице, и твои глаза как будто отделяются ото всего остального и синевой своей – нет, не синевой, а своей особенной сиреневой голубизной – прожигают меня насквозь. Как я хочу поцеловать их!

Бог знает, когда мы увидимся. Не буду растревать себя, а лучше напишу тебе, что и как обстоит теперь в моей ежедневной жизни. Хотел еще рассказать тебе, что в купе вместе со мной ехали два офицера. Прапорщик с лицом грузинского князя по фамилии Багратион, который возвращался из Москвы после недельного отпуска, полученного по случаю смерти матери, и молоденький корнет, едва оправившийся от ранения. Разговор начал вертеться вокруг женщин. Грузин сказал, что вся его жизнь – в жене Машеньке, и, пока не появилась Машенька, он не представлял себе, что такое любовь и считал всё женское население «пупсами», которые делятся на три разряда, как лошади по статьям: «чистокровные пупсы», «полупупсы» и «немного пупсы». Корнет же очень с ним спорил по поводу «чистокровных пупсов» и говорил, что «бабы – одно лишь несчастье» и вся его юная жизнь – прямое тому доказательство. Потом они попросили меня высказать свое мнение, но я уклонился, отделался какой-то шуткой. Даже и представить невозможно, что я, едуций сейчас на фронт, то есть туда, где меня могут убить и этим навсегда разлучить с тобой, – я буду обсуждать с ними каких-то «женщин»! Да какое мне дело до этих «женщин», если у меня есть ты, сомневаться в любви и чистоте которой так же нелепо и оскорбительно, как сомневаться в том, что каждый день восходит солнце.

До Киева ехать было не тяжело, но потом, уже в Галиции, начался просто ужас. Заночевать пришлось в Козлове, где возвращающиеся обратно в свои части раненые офицеры по

несколько суток ждут навозные мужицкие телеги, потому что никакого другого сообщения нет. Забавную вещь расскажу тебе: вечером мне не спалось, в офицерской избе заснуть невозможно (холод, грязь, клопы!), и я накинул шинель, пошел побродить под свежим, молодым, совершенно рождественским снегом, который шел и быстро таял на бурых буграх. Визжу на пригорке огонь. Спросил у солдата, что это там такое. Он говорит: это цыгане, перебираются подальше от войны, остановились на ночлег, поставили свои палатки. Что с ними поделаешь? Я подошел к огню. Табор уже спал, только одна молоденькая лохматая цыганка, сидя совсем близко к костру, кормила грудью младенца. Я сел неподалеку и начал смотреть на нее, чувствуя, что сам вот-вот засну от ее монотонного гортанного напева и мягких ритмичных раскачиваний тела то в одну, то в другую сторону. Наконец она положила своего завернутого в тряпье младенца прямо на землю и предложила мне погадать. Я протянул ей руку. Говорит она очень быстро и словно бы про себя, но понять все-таки можно. Пальцы у нее липкие, должно быть, от молока, очень горячие и цепкие.

– Бери коня, иди домой, – залопотала она. – Огонь черный, ветер быстрый. Положат вот так, – она показала мне, как, повалившись немного набок. – Не оттуда добра ждешь.

– Откуда же мне его ждать?

– От сердца. – И закрыла свою левую грудь ладонью. – Сердце, когда во-о-от так зажалит, тогда будет много-о-о добра!

Я так и не понял, что она мне сказала. «Зажалит»? Заболит, что ли? Младенец проснулся и запищал. Она схватила его с земли и опять принялась раскачиваться и монотонно распевать. Я запомнил одно только слово, что-то вроде «бередня». Дал ей немного денег, которые она тут же упрятала в свои тряпки. Вернулся к себе. Через час рассвело. Посмотрел в ту сторону, где стоял табор. Табора уже не было, а в гору тянулся двуколочный обоз сибирского полка. Стояла глубокая тишина. Я опять почему-то вспомнил это слово – «бередня» – и подумал, что оно могло бы значить. И тут сверху донизу воздух разорвался, словно занавес в театре, и с гулом прокатились два пушечных выстрела...

* * *

Посреди ночи Таня проснулась от страха. Во сне она видела Василия Веденяпина, торгующего старыми вещами. Вокруг него были разложены седла, полушубки, ремни и толпились люди, которые, как на аукционе, выкрикивали разные цены. Она подошла к Веденяпину поближе и на ухо спросила, чьи это вещи. Василий Веденяпин, нескладный, с пышными красными кудрями мальчик, точно такой же, каким он был, когда год тому назад выбежал, захлебываясь слезами, из кондитерской, ответил ей, что вещи эти принадлежат его только что умершему отцу и он продает их сейчас, чтобы как можно быстрее передать деньги оставшейся без средств матери.

Таня встала с постели, подошла к окну. За окном висела мутная снежная сетка, и всё, что мелькало вокруг, попадалось в нее, как иногда, бывало, в дачный сачок попадались сразу и бабочка, и цветок вместе с прилипшей паутиной и в ней мирно спавшим, как в люльке, жуком, и вялая гусеница, слишком жарко одетая в свои голубые меха, и кто-то еще, незначительный вовсе, белесый, как выгоревшая травинка. Все они секунду назад даже и не подозревали друг о друге, а тут вдруг внезапно прихлопнуло всех, и жизнь (верней сказать, смерть!) стала общей.

Таня подумала, что, может быть, Василий Веденяпин тяжело ранен или убит и его отец, Александр Сергеевич, оттого и не звонит ей и не ищет встреч, что ему сейчас не до нее. Прошло уже две с половиной недели, как они обедали в «Праге», и за это время успел приехать и уехать обратно Володя Шатерников, с которым она опять была несколько раз близка, потому что сейчас ведь не те времена, чтобы морочить голову до отчаяния любящему тебя человеку, который прямо из твоих объятий уехал на фронт.

К утру началась тошнота, озноб, Таня не пошла на работу, но зато позвонила Оле Волчаниновой и попросила заглянуть, если есть время. Через полчаса, топая массивными ногами по лестнице и стряхивая снег с большого вязаного платка, вошла Волчанинова, самая рослая девочка из последнего выпуска гимназии Алферовой, любимица начальницы Александры Самсоновны за прекрасные способности к математике. Волчанинову считали очень красивой и сравнивали даже с богиней Венерой за ее ровный безукоризненный профиль, карие, с густой поволокой глаза и прекрасные светло-каштановые волосы, которые она венком укладывала вокруг головы. Даже слишком высокий рост и некоторая неуклюжесть не мешали красоте этого ясного, всегда отзывчивого и доброго лица. Сейчас оно было погасшим, под карими глазами лежали заметные тени.

– Жар у тебя? – спросила она у Тани и пощупала ей лоб большой и прохладной ладонью.

– Не знаю. Тошнило всю ночь.

– А ты не беременная, Татка? – спокойно спросила Волчанинова.

Таня отшатнулась с испугом. Волчанинова печально покачала головой.

– У Александры Самсоновны, – сказала она, имея в виду Алферову, – есть племянница, дочка ее покойной сестры. Нашего возраста. У нее был жених, и свадьбу назначили, всё приготавливали. А тут война. Всё, как у тебя, Татка. Он пошел на войну, и его убили. И тут оказалось, что ей через четыре месяца рожать. Она чуть руки на себя не наложила от горя. Алферовы ее выходили. Ты же знаешь, какие они люди. Александр Данилыч ей целыми днями Пушкина читал. «Сказку о царе Салтане». Теперь она успокоилась, ждет своего ребеночка. Александра Самсоновна почему-то уверена, что будет девочка.

– Зачем ты мне это всё рассказываешь? – простонала Таня. – Я не беременная.

– Ну, нет – значит, нет, – согласилась Волчанинова. – А ничего нет стыдного в том, чтобы без мужа родить. Людей убивают, пусть вместо этого хоть дети нарождаются. Ребенок ведь ни при чем. Ты посмотри на моего брата: встанет с постели и сразу – к бутылке. Сухой закон – так он чего только не пьет! Люди к нему какие-то приходят с черного хода, он им платит. Смотреть стало страшно. Мама говорит: «Петюшенька! Ты сгораешь!»

– А он?

– А он – ничего. Слепой ведь, в повязке. Потыкается лбом ей в руки: «Погладь меня, мама! Прости меня, мама!»

Таня закрыла лицо ладонями.

– Ты, Оля, какая-то бездушная. Ничего тебя не трогает.

– Ну, как же не трогает? – не обиделась Волчанинова. – Очень даже трогает. Мне еще давно цыганка нагадала, что я и проживу мало, и горя у меня будет выше головы. Судьба моя, значит. Что делать!

– Ты веришь цыганкам? – вздрогнула Таня, вспомнив вчерашнее письмо Шатерникова.

– А как им не верить? Папин один знакомый стоял в тамбуре с другим, тоже папиным знакомым. Ехали в поезде. Курили. Вдруг откуда ни возьмись цыганка. И папин этот знакомый возьми да пошути: «Доживу я, – спрашивает, – до сегодняшнего вечера или нет?»

– И что? – напряглась Таня.

– Цыганка посмотрела ему на ладонь и говорит: «Нет, – говорит, – не доживешь. Тебе не больше получаса осталось». Они посмеялись, она ушла. А его через пятнадцать минут с поезда сбросили.

– Как это – сбросили?

– Не знаю. И никто не знает. Он в тамбуре остался, а тот, другой папин приятель, замерз, вернулся в вагон. Вдруг крики: «Человека убили!» Кто-то увидел в окошко, как человека с поезда сбросили. На полном ходу. Остановили состав, тут же полиция, свидетели. Он внизу, под насыпью, лежит, мертвый, ни кошелька, ни документов нету. А ты говоришь: не верить цыганкам!

– Тебе, что ли, тоже гадали? – замирая, спросила Таня.

– И мне, – с грустной важностью ответила Волчанинова. – Я еще совсем маленькой была, лет восьми. На даче. Табор там стоял, в поле. Красиво! Ночью костры, юбки на женщинах такие яркие, золота много... Начали они по дачам ходить, медведя с собой водили. Медведь пляшет, а у него лапа дрожит. Мелко-мелко, как у больного старика. Мы с няней стояли и смотрели. Жара невозможная. Медведь сплясал, а больше не может, устал. А цыган, молодой, бешеный, рожа сизая, как у утопленника, оскалился и – раз его плеткой по морде! У медведя из глаза кровь пошла, лапа опять задрожала, я заплакала. Жалко же! Тут к нам старуха подошла и – цап меня за плечо! Няня начала ее отталкивать, а та кричит: «Дай правду скажу! Дай скажу!»

– Что же она сказала?

– Да я не всё поняла. Помню только про каких-то детей, которые меня «изведут». Я вот только одно это слово и запомнила.

– Как «изведут»?

– Откуда я знаю? Няня меня подхватила и увела. Цыганка нам всё это вслед кричала.

Седьмое письмо Владимира Шатерникова:

Мы отступаем по всем фронтам. Отовсюду приходят тревожные слухи и донесения. Говорят, что из Москвы вывозят государственный банк и другие учреждения, так как ждут прихода немцев. У нас теперь уже официально признан недостаток снарядов, а без снарядов – какая же война? Немцы дерутся с какой-то дикой свирепостью, напоминая своих лесных предков, и всё заметнее становится самоотверженность этой нации, которая взялась разбить нас во что бы то ни стало. В нашей армии всякая надежда победить немцев тает, как снежок на мартовском солнце. Государя жалеют, но тоже уже обреченно, и говорят о нем, как о глубоком старике или малом ребенке.

Вчера я видел первую бабочку. Сидел с солдатами на поваленном дереве, и вдруг – божье мой, чудо какое! Летит, золотистая, белая, такая чужая всему и такая счастливая, испуганная немного. Как будто какой-то маленький, только что народившийся ангел. А ведь еще снег не до конца растаял. Наверное, она в ту же ночь и замерзла. Странно, правда?

Я думаю о тебе постоянно, уже и не различаю, где заканчиваюсь я и начинаешься ты. Вокруг очень много крови, несчастий. Прости, но и ты благодаря мне против твоей воли оказалась в самом центре всего этого, поскольку ты всегда вместе со мной. Я иногда думаю: если меня убьют, почувствуешь ли ты, что это уже произошло? Наверное, почувствуешь.

Прошлой ночью наши лошади вернулись с пастбища, с ними пришла большая черная корова. Она была доверчива и очень ласкова. Солдаты подходили к ней, гладили ее по морде, корова в ответ моргала большими ресницами, прикрывала глаза. Я был уверен, что мы будем держать ее для молока, но ошибся. Ночью корова уже висела на перекрещенных бревнах далеко в подлеске. Вот так. Убили, сварили и съели. Что тут говорить – война! Людей убивают, не корову же жалеть! А мне стало страшно. Между жизнью и смертью, между жалостью и жестокостью, между любовью и отвержением стирается черта. Всё перемешивается. Я знаю, что и эта война закончится, и другая война, которая где-то когда-то начнется – неважно, у нас, у других! – тоже, пролив нужное ей количество крови, насытившись кровью, закончится, но я чувствую, что ничего не проходит бесследно, что от каждой смерти, каждого убийства – человека или любого животного – на этой земле остается какой-то незаживающий рубец. Маленькая, но глубокая ранка, которая не затягивается до конца, и происходит нагноение, как это бывает в солдатских ранах, и всё навсегда остается здесь, с нами, внутри нашей жизни, ослабляя ее изнутри грехами и страхами.

Родная моя! Сегодня днем удалось немного поспать и даже увидеть тебя. Ты стояла у окна с ребенком на руках. Волосы твои были распуцены, и ими ты пыталась закрыть от меня ребенка. Я хотел его рассмотреть как следует, а ты закрывалась, отворачивалась. Но

я отчетливо слышал, что ребенок плачет. И сейчас слышу. Мне кажется, что этот, именно его плач я узнал бы из тысячи других детских голосов.

Боюсь тебя спрашивать. Но всё же... Благополучна ли ты? Нет ли каких-то новостей, связанных со здоровьем? Ты сама понимаешь, о чем я. Ради бога, ничего не скрывай от меня. Одна мысль, что ты можешь скрыть от меня самое главное, просто сводит с ума.

* * *

В городе наступила весна, стало совсем солнечно и светло. Лавочникам пришлось срочно выставить на продажу припасенное зимой добро, чтобы оно не пропало по нынешней теплой температуре. Переходя торговую площадь по дороге в госпиталь, Таня увидела стоящие прямо у мясных лавок огромные, алебастрово-белые свиные туши с глубокими разрезами на складчатых загривках и опять почувствовала сильную тошноту. Теперь она уже не сомневалась в своей беременности, но страх прошел, уступив место почти безразличию: всё время хотелось спать, спать, спать и ни о чем не думать. Она понимала, что рано или поздно придется сказать отцу, но и это стало неважным. Ну, скажет. А может быть, он сам заметит. Вчера в зеркале она посмотрела на свой голый живот. Пока ничего. Можно никому не говорить.

Снег растаял, с домов сползли последние сосульки и звонко разбились об асфальт. Дворники, как в прежние добрые времена, мели и чистили тротуары, и лица их были, как всегда, румяными и озабоченными. Если закрыть глаза, то все эти звуки: жаворонков, галок, воробьев, голубей, звуки бегущей по улицам весенней воды, веселые живые звонки трамваев, поскрипывания резиновых галош и дамских ботинок – всё это было так знакомо, так близко и сердцу, и слуху, и зрению, что Тане иногда начинало казаться, что она спит, а если проснуться, то всё сразу исчезнет: и боль в животе по утрам, и мигрень, и тошнота, и, главное, горькие, бросающие в краску стыда мысли, связанные с Владимиром Шатерниковым.

На работе она была рассеянна, и великая княгиня со своим терпеливым и бледным лицом, на котором, как темная лесная вода, стояла тоска, увидев, что Таня в четвертый раз роняет на пол хирургические ножницы, предложила ей пойти домой и как следует выспаться.

Таня извинилась, не глядя на великую княгиню, и тут же ушла. Навстречу ей со стороны Красной площади двигалась большая нахмуренная толпа с раскачивающимися над головами национальными флагами. Мальчишки с разинутыми и красными, как у голодных галчат, ртами бежали впереди с криками «Шапки долой!». Толпа мерными и мертвыми, как показалось Тане, шагами прошла мимо нее, особенно высоко задирая портреты государя, словно поставив своей целью коснуться его бледным лбом облаков. Не успела пройти одна толпа, как на ее месте выросла другая, более торопливая и словно бы сильно рассерженная, в которой неприятно выделялись немолодые женщины с худыми и серыми лицами. Они угрожающе пели «Спаси, Господи, люди Твоя», и одна из таких женщин вдруг встретила с Таней своими пустыми, сердитыми глазами.

Дома были наглухо закрыты форточки и двери. Няня и гувернантка Алиса Юльевна сидели в маленькой комнате на сундуке, и Алиса Юльевна громко плакала.

– Да кто тебя сглазил, Алиса! – про себя шептала няня и быстро крестилась на каждый новый клетот, выскакивающий из горла перепуганной гувернантки. – Водички попей! Что, ей-богу...

Увидев вошедшую Таню, обе вскочили.

– Ну, слава тебе, Господи! – забормотала няня. – Теперь еще папы дожидаться, и все будем дома... А там пусть как знают! С ума посходили!

– Немцев гонят, да? – спросила Таня.

Алиса Юльевна заплакала, а няня опять перекрестилась.

– До Арбата, дворник сказал, дошло, – зашептала няня. – Уж Цинделя магазин весь растащили. Бабы с узлами, говорят, как мыши: шнырк-шнырк! Совести нет у людей ни на грош!

Таня вдруг почувствовала жгучую необходимость куда-то пойти, побежать, увидеть всё своими глазами. Мать и Дина в ее маленьких красных перчатках, с пепельными, похожими на парик волосами стояли перед ней так отчетливо, словно обе были здесь, в комнате.

– Сейчас вернусь, – быстро сказала она няне и всё еще kloкочущей, красной, с выпученными глазами Алисе Юльевне. – Сейчас, подождите!

И, выскочив на улицу, побежала в сторону Арбата. Мимо нее тоже бежали, торопились и что-то выкрикивали незнакомые растрепанные люди. Пьяное возбуждение стояло в воздухе и электризовало его. Небо внезапно поднялось очень высоко и стало вдруг беззвучным, равнодушным и таким далеким, словно его и вовсе не было, а там, где оно было прежде, где жгло, и рвалось, и сияло, образовалась пустота.

Половина зданий и магазинов оказались уже разрушены. Особенно страшно выглядел двухэтажный магазин детских игрушек, в котором оба этажа зияли своею зеркальной открытостью, как сцены пустого театра. Громко разговаривающие, с пьяными, веселыми, бешеными и растерянными глазами люди действовали так, как будто кто-то, кого видели только они и чьих приказаний не смели ослушаться, руководит происходящим и знает, что именно нужно кричать, как, лихо размахивая топором, выламывать двери, какие предметы кидать из окон. Кажущийся беспорядок был на самом деле особым и мертвым порядком, выражением чьей-то неутомимой, но хладнокровной ярости, которую эти люди должны удовлетворить своим послушанием.

Швейная машинка вылетела из окна третьего этажа и, грузно звеня, обрушилась на голову мальчика, с восторженным ожиданием смотрящего на нее. Мальчик упал, обливаясь кровью. Несколько человек подбежали к нему. Голова ребенка была расколота, а левый глаз остался раскрытым и странно внимательным, так что казалось, что этим раскрытым глазом мальчик следит за тем, как его поднимают с земли, щупают ему пульс и оттаскивают в сторону. Какая-то женщина сняла с себя платок и накрыла мертвого. Потом наклонилась и перекрестила его. Из подъезда развороченного дома двое фабричных выволокли под руки пожилую немку, по всей вероятности экономку или старшую горничную, и крепко привязали ее к дереву. Немка только беззвучно, как рыба, хлопала большими губами.

Рвота подступила к горлу, и Таня, зажав обеими ладонями рот, побежала домой, боясь оглянуться. За спиной продолжало грохотать, стучать. Потом потянуло дымом.

– Склады зажигают! – крикнул кто-то, пробежав мимо Тани.

– Какие склады! – ответил ему мелодично сорвавшийся женский голос. – Котельная там. Вот она и сгорела! А на Прохоровской, слышал, что? Уж всё погорело!

От дома доктора Лотосова как раз отъезжал извозчик, когда Таня, бледная, с крупными каплями пота на лбу, подошла к парадной и открыла дверь. Алиса Юльевна, еще бледнее Тани, обеими руками высоко подняв свою суконную юбку, так что были видны плотные белые чулки и растоптанные, похожие на мужские, башмаки, спускалась ей навстречу.

– Танюра! – со своим неистребимым швейцарским акцентом сказала Алиса Юльевна. – Там очень большое несчастье! И ты должна тихо...

Она не успела договорить: Таня отодвинула ее одной рукой (Алиса Юльевна была высокой, но легкой, как кость речной рыбы) и сразу побежала в столовую, откуда слышался отцовский голос. За столом сидели мать и Дина, а отец стоял и, глядя Динины волосы, что-то объяснял, упрасивал, и голос его был тихим, умоляющим.

– Тебе нужно лечь, нужно лечь, – бормотал он, обращаясь к матери и не переставая равномерно надавливать ладонью на Динину голову. – Поверь, это шок, до утра он пройдет... Вы здесь всё равно в безопасности...

А мать разевала рот, как та немка, которую фабричные только что привязали к дереву, и так же, как немка, ловила воздух серыми губами.

– А, это ты! – увидев вбежавшую Таню, сказала Дина. – У нас сейчас папочка умер...

У Тани подкосились ноги.

– Подонки! – буркнул отец, оглянувшись на нее. – Ворвались в квартиру, а там человек с больным сердцем... Мерзавцы! Разграбили, расколотили! Я только что сам всё узнал...

Мать тоже посмотрела на нее, но, казалось, не узнала и отвернулась.

– Помоги мне, – приказал отец. – Поддержи маму с той стороны... Да не так! – с досадой вскрикнул он. – За левую руку! Помоги ей подняться, у нее шок...

Побелевшей рукой мать крепко вцепилась в край стола и замотала головой, чтобы ее не трогали.

– Что, Аля, что, милая? – зашептал отец, наклонившись к ней. – Ну, что тут поделаешь... Ну, встань! Обопрись на меня. Осторожненько...

Сломанный на середине звук вырвался из материнского горла.

– Вставай. Потихоньку. Попробуй! Тебе станет легче. Ну, Аля, ну, милая...

В материнских глазах появился ужас. Она положила пальцы на горло и попыталась выдавить из себя какое-то слово, но ничего не получилось.

– Ты ляжешь, поспишь... Завтра будет полегче... Пойдем. Нужно лекарство выпить... И ванну горячую примешь...

Дина закрыла лицо руками и громко заплакала.

– Возьми девочку к себе, – приказал отец, уводя мать из столовой. – Уложи ее спать. И дай ей поесть. Пусть поест обязательно!

– Я есть не хочу! – сквозь судорожные рыдания выговорила Дина. – Не нужно меня только трогать!

– Не плачь! – попросила Таня и погладила ее по плечу. – Пойдем, ты поспишь...

Дина вдруг изо всех сил притиснула ее к себе обеими руками, не вставая со стула.

– Ты знаешь, что было? Ведь ты же не знаешь!

– Где было? У вас? В вашем доме?

– Они уже шли по улице, – всхлипнула Дина. – И папа решил, что, раз мы раньше не убежали, теперь уже поздно. И потом папа сказал, что он русский, потому что фамилия наша от деда, а дед тоже был православным... И нам поэтому ничего не сделают. Мы закрыли все окна, дверь на цепочку, и все сидели в гостиной. Мне было так страшно! – Она оторвалась от Тани и тут же снова зарылась в нее своим мокрым горячим лицом. – Сначала нам начали звонить в парадную дверь. А мама еще с вечера отпустила кухарку. Мы не открывали. Потом папа сказал, что лучше открыть, иначе они всё разломают. Но уже было поздно, потому что у них топоры. Они пришли с топорами. И начали стучать топорами по стенам. Я не знаю, сколько прошло времени.

Она захлебнулась и затрясла головой.

– Не надо! Не рассказывай больше!

– Нет, я расскажу. Папа пошел к ним сам, а двери уже не было. Мы с мамой тоже выбежали. Их было трое. Один был какой-то ужасный, с обваренным лицом. Я еще успела подумать, что такой обязательно кого-то убил или убьет. Он сорвал с папы пиджак и закричал: «Ну, Зандер, попался!» И папа прислонился к стенке, потому что у него... – Дина зарыдала. – У папочки сердце болело, когда он был жив...

– Он умер? – ужаснулась Таня.

– Да, я ведь сказала! Ты разве не слышала? Он упал. Мы с мамой к нему. Он дышал. Вот так, очень громко: «О-о-о! О-о-о!» И он еще сказал: «Ничего, ничего, сейчас, ты не бойся». И вдруг перестал дышать. Мама стала поднимать его, тащить, чтобы он встал... А у него так запрокинулась голова, и он стал хрипеть. Сначала громко, а потом тихо. И тогда обваренный

сказал: «Одной сукой меньше...» И я это слышала! Они прошли в комнаты и всё там разбили. Просто разбили топором... И ушли. Но потом сразу набежали какие-то люди, стали поднимать маму с пола. А папу накрыли простыней и унесли, и всё. А потом твой отец... Ты видела, что с моей мамой? Она же ничего не слышит! Она мне, даже мне не может ничего сказать!

* * *

В четверг в церкви Пресвятой Богородицы на Покровке состоялось отпевание Зандера Ивана Андреевича. Таня видела всё в каком-то тумане. Два дня она провела с мамой и Диной и плакала так много, что сейчас, в этот почти жаркий апрельский день, который еще на рассвете высвободил из влажной и свежей земли столько трав и столько смущенных счастливых растений, что сразу же вдруг завершилась весна и тут же настало роскошное лето, в этот жаркий день, когда лучше было бы сидеть на дачной веранде и греться на солнце, как греются кошки, как греются птицы и все, кто не умер, в этот день, как только радостный резкий луч сквозь высокие окна осветил прохладное и успокаивающее помещение церкви, все люди, пришедшие попрощаться с Иваном Андреевичем Зандером, собрались у гроба усопшего.

Отпевание должно было вот-вот начаться. Вокруг гроба крестообразно горели свечи: одна у головы, одна – у ног и две – с обеих сторон, – а сам Иван Андреевич, почти утопающий в белых цветах, уже находился как будто в раю. Таня вспомнила, как няня много раз говорила ей, что цветочки – это и есть остатки рая на земле. Белизна лепестков и бутонов усиливала спокойное и почти даже веселое выражение, которое было на лице Ивана Андреевича. Он выглядел юношей и казался не мужем Таниной матери, а ее, может быть, старшим сыном или, напротив того, младшим братом. Никаких определенных физических черт, как у живых и даже у большинства умерших, не было на этом лице. Там, где полагалось находиться носу, конечно же, тоже был нос, а там, где глазам, тоже были глаза – но только «общие», неважно чьи глаза, и «общий», неважно чей нос, потому что простое, худое лицо Ивана Андреевича было поглощено не тем, что при жизни отличало его от других людей, а тем, что теперь открывалось ему и никак не зависело ни от тела, принесенного в церковь для прощания и оплакивания, ни от лица, вокруг которого остатками своего чудесного запаха еще дышали цветы, умершие тоже недавно, на пару дней позже Ивана Андреевича.

Таня понимала, что этот человек разрушил ей жизнь, уведя ее мать, но сейчас, глядя на него сквозь туман уже привычных слез, она чувствовала покой и – стыдно сказать – почти радость. Она не тому радовалась, что его нет больше и мать навсегда останется с ней, а тому, что этот человек, впервые увиденный ею теперь, оказался не только не отталкивающим, как она думала раньше, когда ненавидела его, но ясным, простым, простодушным, а главное, всем всё легко уступившим.

Мама не плакала. Она только очень сильно дрожала, так сильно, что Танин отец снял с себя шарф и набросил ей на плечи. Дина тоже не плакала, а стояла почему-то несколько в стороне, а когда взглядывала на мертвого отца, в глазах у нее появлялось то младенческое удивление, которое Таня уже знала за ней. После разрешительной молитвы «Приидите, последнее целование дадим, братие, уме благодаряще Бога...» началось прощание. И тут с матерью вдруг произошло что-то: она перестала дрожать и, вырвавшись из рук Таниного отца, не наклонилась над гробом, а резко легла на него. Она упала на умершего всем телом, сминая цветы, обняла его – внутри благодатного белого рая, где ему было хорошо, спокойно лежать и слушать все эти молитвы, – она обняла его так, как будто он жив и должен ей тут же ответить. Все, бывшие в церкви, растерялись и переглянулись, а Танин отец, покраснев, дотронулся до ее черной шляпы, но она затрясла головой, плотнее приникла к умершему и вдруг закричала на всю эту церковь. Крик этот был еще и потому так странен, что с того дня, как отец привез ее и Дину в свой дом на Плющихе, мать не произнесла ни одного слова и не проронила ни одной слезинки.

Сейчас она вдруг закричала, но понять, что она кричит, было трудно, почти невозможно, ибо она и называла покойного какими-то именами, которые знали лишь он и она, и что-то приказывала ему, и умоляла его встать, и нежно куда-то звала, как будто он ее слышал... Совсем посторонние люди начали смущенно помогать отцу, пытаясь оттащить мать от гроба, но она сопротивлялась, билась, никого не слышала... Таня чувствовала, что сгорает со стыда. В диком материнском крике было не только отчаяние, в нем была какая-то жуткая, свирепая уверенность, что всё это ложь, всё неправда, что он не посмел умереть до конца и нужно пробиться к нему, разворотить обеими руками его этот белый, таинственный сон, напомнить ему о себе и *заставить* подняться...

Тане хотелось убежать из церкви. Что-то словно бы перевернуло в ней всё, когда мать начала так кричать. Ей вдруг показалось, что она наконец-то поняла, почему мать бросила ее и ушла к этому человеку, мертвое лицо которого сейчас не выражало ничего, кроме покоя и строгой, возвышенной радости. Своим обезумевшим криком мать еще и призналась Тане, что без нее она *могла* жить и потому ушла, бросила их с отцом, но жить без этого человека она *не могла*, и теперь, когда его не стало, когда его больше *не будет*, никто из людей не в состоянии понять и успокоить ее. Тане пришло в голову, что в том, что мать бросила их, не было ни личной воли ее, ни даже и просто решения, – ничего не было в этом поступке, кроме того, что мать, как любая травинка, любая весенняя бабочка, любой безголосый, ободранный птенчик, хотела немного пожить, отдышаться...

Внезапно открывшаяся Тане правда была настолько проста, что все вопросы, которые она прежде задавала себе, вдруг с мягким мучительным звоном рухнули внутри, как рушится дом или падает дерево, а там, где они находились – тот дом или дерево, – там образовалась тошнотворная, ничем не заполненная пустота, в которую нельзя заглядывать живому страдающему человеку, поскольку за ней, пустотой, – ничего... Пустота.

* * *

Бой, в котором Василий Веденяпин получил легкое ранение в руку, был бой под деревней Свистельники, и в этом бою их дивизия потеряла треть своего состава. Он знал, что теперь можно будет попроситься в отпуск и с подвязанной рукой, неизвестно, как он думал, изменившись за несколько месяцев, приехать в Москву и увидеть отца. Еще совсем недавно он и мечтать не смел о такой возможности, теперь же что-то как будто начало мешать ему. Он знал, что отец начнет его расспрашивать и нужно будет подробно рассказать ему, что такое война и каково теперь его отношение к жизни, но именно на эти, самые главные вопросы он и не был готов отвечать. Да он и не хотел отвечать на них. Отец, наверное, ждет, что Василий с жаром опишет ему, как бесстрашно ведут себя русские солдаты и офицеры, как все они, включая того же Василия, готовы сложить голову за Отечество, как верят в победу русского оружия и презирают смерть, следящую за каждым из них в оба глаза. А всё это было не так. И он чувствовал, что всё не так, но не знал, как объяснить сейчас то, что он чувствовал. Главной его потерей на этой войне была Арина. Они сошлись из-за войны, но война же и разлучила их. И если он даже останется жив, найдет ее в месиве жизни, то чем это всё обернется? Он вспомнил, что у нее есть ребенок и, стало быть, где-то есть муж, и этот муж тоже может вернуться с войны, войти к ней в избу, сорвать с ее тела рубашку, раздеться... Василий зажмурился, вспоминая, как ловко и решительно раздеваются солдаты, когда им выпадает, например, случай выкупаться в реке, как одним коротким и резким движением они стягивают через головы рубахи, выпрыгивают из штанов и голые, нисколько не смущаясь своей наготы, бросаются в воду, обдавая друг друга брызгами...

Когда он начинал думать об этом, слезы прожигали глаза, и, сглатывая их горячую мокрую соль, он успокаивал себя тем, что, может быть, муж не вернется с войны, но от этих, совсем

уже отвратительных и гнусных мыслей, вернее сказать, этих жутких *надежд* его переворачивало со стыда. В бою под Свистельниками Багратиону, лучшему старшему другу молодого Веденяпина, оторвало ногу, и теперь Веденяпин ждал, пока тот оправится, выйдет из госпиталя, чтобы вместе поехать в Москву.

Вечером, в среду, Василий вместе с целым отрядом во главе с командиром дивизиона отправился на рекогносцировку позиции. Ни одного облака не было на совершенно синем небе, по обеим сторонам дороги мягко и лучисто трепетали молодые березы. Он почти задремал в седле, как вдруг шрапнельный стакан зарылся в землю совсем близко от него, и он увидел, как съехала фигурка едущего слева капитана Безбородко. Через секунду Безбородко выпрямился и неестественно засмеялся:

– Вот что война с людьми делает! Родной артиллерии испугался! Это ж они, дураки набитые, нас шрапнелью обсыпают! Аэропланы немецкие обстреливают, чтобы бомбы не посыпались на наши головушки! А я-то, старый хрыч, чуть с лошади не упал! Не-е-ет, голубчик мой, это не от страха, меня не проведешь! Это в человеке, значит, унижение развивается. Как у собаки. Не знает, за что побьют, а шею пригнула, на лапы присела и вся трясется. Вот так и запомните, юноша: унижение!

Странно, что раньше это не приходило ему в голову. Да, да, унижение! Конечно, именно это. Когда ты совсем *не боишься* (он внезапно понял и то, что страх проще унижения и гораздо грубее, чем оно!), ты совсем *не боишься*, но внутри тебя появляется другое существо, которое, невзирая на тебя, всё равно пригнет шею, сядет на задние лапы и затрясется. Боже мой, да почему же он не понял этого раньше, если именно на этом и держится мир? Папа, когда он стоял над мамой, которая притворялась, что она спит, а папа притворялся, что он стоит здесь и смотрит на нее, потому что не было никаких свидетелей (кроме Василия, о котором папа не подозревал в эту минуту!), папа был *унижен* и не смел разбудить маму, а только нюхал ее волосы и разглядывал ее лицо, хотя (теперь Василий понял и это!) ему больше всего хотелось именно разбудить ее, и обнять, и лечь с нею рядом. Ведь папа тогда никого не боялся, но он был *унижен*!

А мама? Мама, которая рывком села на изогнутой кушетке, как только он вышел из кабинета, и зажала рот обеими руками, словно ее сейчас вырвет, и затряслась то ли от слез, то ли от хохота, – разве она не была *унижена*? И чем больше они ссорились потом, чем больше кричала мама, чем неподвижнее и злее становился папа – до этого последнего утра в кофейной Филиппова, где барышня, похожая на Клео де Мерод, смотрела на них своими сиреневыми глазами, – до самого конца, до тусклой маминой фотографии, где она лежит в гробу, непохожая на себя, до самого этого гроба вся жизнь их только увеличивала *унижение* и напоминала о нем.

Василий вспомнил, как совсем недавно он желал мужу Арины не вернуться с войны. Его обдало холодом. Он желал – против своей воли, против своей души, против всего, что в нем было, – смерти человеку, который одним только нахождением на земле мог бы *унизить* его, Василия, и уже *унижал*, как только Василий вспоминал о нем, хотя этот человек и не подозревал о его существовании и, более того, они и не узнали бы друг друга, столкнись, скажем, здесь, вот на этой дороге.

Последнее письмо Владимира Шатерникова:

Всё это время я почему-то думал, что твои письма по непонятной причине не доходят, что они застревают где-то в дороге, а ты пишешь мне и думаешь обо мне, и настанет день, когда я вдруг одной охапкой получу все твои письма и буду упиваться твоею любовью ко мне, которая так и брызнет из каждой строчки!

А сейчас я, кажется, начал что-то понимать, я вдруг догадался о правде. Да ты ведь просто-напросто не пишешь мне! Боже мой, как это, оказывается, всё объясняет! Ты не

пишешь мне, потому что ты или не любила меня никогда, или разлюбила сейчас, или ты любишь кого-то другого. Неважно!

Только самое первое время, самые первые недели, когда приходило от тебя письмо, я знал, что ты рядом, ты здесь, я чувствовал твой запах, твоя кожа была под моими руками, губами я дотрагивался до уголка твоего закрытого глаза, и волосы твои скользили под моими пальцами... Да, вот так и было! И когда я заканчивал читать письмо, ощущение, что ты только что была здесь и мы были вместе, это ощущение достигало такой силы, что я сразу же засыпал, как будто проваливался. Засыпал так, как я засыпал после нашей любви, не выпуская тебя из себя, не давая тебе шевельнуться. Но всё это позади. Я не хочу ни о чем спрашивать. Ты и сама, наверное, не уверена, когда это произошло, и, может быть, даже не знаешь, что было прямою причиной твоей перемены. Страшно, Таня, радость моя. Страшно, что нужно пережить и такое. Это, наверное, тоже судьба. Если бы не война, которая научила меня тому, что судьба существует, причем существует всё время, каждую секунду, я бы, наверное, катался сейчас от боли. Да я и катаюсь, честно говоря. Теперь я то вижу тебя, то не вижу. словно ты только что была рядом и вдруг затерялась в толпе. Выглянула на секунду и опять затерялась.

Я тебя прошу об одном. Не знаю, как даже и произнести. Уже которую ночь меня одолевает один и тот же сон, это не может быть случайностью. Ты стоишь у окна с ребенком на руках, моим ребенком, которого ты почему-то прячешь от меня. Прости, если всё это одни лишь мои фантазии. Но если нет? Если ты и в самом деле ждешь ребенка? Умоляю тебя, скажи мне правду.

* * *

Поминок по Ивану Андреевичу Зандеру мать просила не устраивать и ушла к себе в комнату сразу после кладбища, где было так тепло и солнечно, что все эти маленькие синевато-красные червячки, только что народившиеся на свет, не торопились во влажную холодную землю, чтоб там смаковать еще свежую плоть, а нежились в яркой траве и вздыхали, что им достаются лишь гниль да остатки, а то, что – душа, и сиянье, и счастье – о, то всё давно улетело, умчалось!

Мать забрала к себе в комнату Дину, которая так рыдала, когда отца засыпали землей, что Таня почти ничего не запомнила, кроме этого рыдания, и только крепко обнимала ее, дышала ей в волосы, гладила ее детскую, крепкую, выгнутую спину, машинально запомнив на всю жизнь, что Динины волосы пахнут чернилами. Вечером, когда они втроем с отцом и Алисой Юльевной сидели в столовой, Алиса Юльевна посоветовала перевести Дину в гимназию Алферовой, и сказала она это так, словно было само собой, что мать и Дина остаются теперь у них навсегда. Отец ничего на это не ответил, но, выходя из столовой, пробормотал:

– К Алферовым лучше всего.

Таня заснула сразу же, как только коснулась головой подушки, но, как показалось ей, сразу же и проснулась. Дина в длинной ночной рубашке, со своими огромными, всю ее, словно густой пеной, заваливающими волосами, стояла над ней и трясла ее за плечо.

– Пойдем!

Таня накинула на плечи пуховый платок и послушно пошла за сестрой. В комнате матери горел ночник. Мать в том же черном платье, в котором она была на кладбище, сидела на кровати, поджав под себя ноги.

– Они вот говорят: страшно, мол, что война идет, а там, упаси Господи, и революцию устроят, а там опять какая-нибудь война. А я тебе скажу. – Мать перевела на Таню светлые дрожащие глаза. – Я тебе скажу, что нет ничего страшнее того, что... – Она замолчала. – Не знаю, что делать. Подойди ко мне.

Таня подошла. Мать осторожно провела ладонью по ее животу.

– Что ж ты папе не говоришь? Ждешь, пока сам заметит?

Таня вспыхнула.

– Наверное, сын, – отстраненно сказала мать. – Дочки кругло ложатся, а сыновья – остро.

Она опять помолчала и наморщила лоб.

– Я год назад тоже сыночка ждала. Помнишь, Дина?

Дина тряхнула волосами.

– Я ждала, а Ваня каждый день куда-то уходил. С утра уходил и до позднего вечера. Помнишь, Дина? А тут собрались на пикник. Все верхом. Мне говорят: «Вам нельзя, вы же в положении». А я поехала. Красивый был вид, с водопадом. Сыночек мой его, наверное, даже и не успел разглядеть как следует.

Она отвернулась, вжала лицо в спинку кресла.

– Но дело в том, Нюра, – Таня вспомнила, что мать так и прежде называла ее, сократив отцовское «Танюра», – а дело в том, Нюра, что я ни о чем не жалею.

Она опять замолчала.

– Мне только мальчика жалко!

– Мальчика? – сквозь начавшийся в ушах шум переспросила Таня.

– Ребенок был мальчик, – уточнила мать. – И Ваня был мальчик...

– Вы здесь теперь будете, с нами? – прошептала Таня, боясь, что мать скажет «нет», и одновременно почему-то желая этого.

– Куда ж нам деваться? – удивилась мать. – А ты что, не хочешь? Мы можем уйти.

– Я очень хочу, – быстро сказала Таня и, почувствовав, что говорит неправду, покраснела.

– Я папе бы всё же сказала, – вздохнула мать. – А то он заметит. Обидеться может.

Таня взяла ее за руку. Материнская рука была меньше ее собственной, горячей и мокрой от слез.

Вернувшись к себе, она заново, словно в первый раз поняла, что с ней действительно происходит. Она ждет ребенка. У нее в животе лежит ребенок, у которого будут руки, ноги, глаза, рот... Страх, но и что-то совсем незнакомое ей, что-то похожее на почти подавленный страхом и всё же разгорающийся восторг, что-то жгучее, угрожающее и всё же счастливое поднялось внутри, и она почувствовала то же самое, что почувствовала тогда, когда – много лет назад – они с папой катались на лодке, отплыли далеко от берега, и начался шторм, которого она сначала испугалась, а потом, когда их с головой накрыло волной и долго не было ничего, кроме гула и темноты, она начала хохотать от восторга, и папа, весь мокрый, – он тоже смеялся.

Ее начало лихорадить. В наступающем рассвете проступила знакомая до мельчайших деталей комната и раздалось тиканье часов, громкое и резкое, как голос июньской кукушки.

Через три недели пришла телеграмма, извещающая о смерти Владимира Шатерникова. Смерть наступила сразу же, как только пуля пробила Шатерникову голову, но Таня ничего не ощутила ни в ту минуту, когда с последним облачком дыхания погасла его жизнь, ни на следующий день, когда хоронили погибших и кто-то из офицеров, пьяный, трясаясь всем телом, крепко поцеловал мертвого Шатерникова в губы и, махнув рукой, неловко отпрыгнул от гроба, но зацепился за брошенную лопату и рухнул всей тяжестью тела на яркую желтую глину.

Телеграмма была от двоюродного брата Шатерникова, тоже актера, который находился в Питере, но сообщал, что на днях перебирается в Москву и будет работать в труппе Московского Художественного театра. Вскоре после этого пришла еще одна телеграмма, в которой тот же двоюродный брат просил Таню прийти на поминки Владимира, имеющие состояться в помещении Художественного театра на сороковой день после его смерти.

* * *

Было не по-летнему холодно и промозгло, когда Василий Веденяпин соскочил с пролетки у дома на Малой Молчановке, 6, где отцовская квартира занимала весь большой второй этаж. Он знал, что отец его сейчас, скорее всего, занят в больнице, поэтому и не встретил его на вокзале. Но всё же это было странно и не похоже на отца. Василий изо всех сил толкнул дверь, за ней слышались шаги дворника, потом его голос: «Иду! Да иду я!» – и дверь, наконец, отворилась.

Василий очутился в знакомой прихожей, где всегда немного пахло печным дымом, даже летом, и никто не мог объяснить странной устойчивости этого запаха.

– Здорово, Степан, – сказал он дворнику, радостно расплывшемуся в беззубой улыбке. – Ну, как поживаешь? Что папа?

– Болеют, – понижая голос, ответил дворник. – Вторую неделю лежат, не выходят.

– Болеет? – испугался Василий и, обойдя мешающего дворника, быстрыми шагами пересек гостиную и остановился перед запертой дверью отцовского кабинета в нерешительности.

За дверью была тишина. Дворник осторожно вздохнул за его спиной.

– Василь Александрыч, – деликатно сказал дворник, – они не болеют, а так...

– Как – так?

– Ну, вот как... Очень пьют они сильно.

Он никогда и не подозревал, что отец его пьет, хотя запах спиртного изредка смешивался с запахом одеколона, который отделялся от отцовского лица с какой-то приятной и медленной силой, как запах осенней травы.

Не дождавшись ответа, Василий открыл дверь и тут же очутился в отцовских объятьях. Сильные знакомые руки стиснули его и не отпускали. От отца пахло спиртным, но пахло, что странно, не столько изо рта, сколько от шеи. Потом отец разжал руки и отстранился. Василий неожиданно заметил, что он очень красив, раньше это почему-то никогда не приходило ему в голову. Сейчас он увидел, что у отца выразительное бледное лицо с красивыми темными глазами. Маленькая бородка его слегка серебрилась – так же, как и волосы, всё еще густые и кудрявые. Несмотря на глубокие морщины на лбу, он выглядел совсем молодым, и все его движения изменились: они стали какими-то судорожно быстрыми, чего не было прежде.

– Ну, что? Как добрался? – быстро заговорил отец и тут же запнулся: – Прости, что не встретил, проспал.

– Ничего, – удивленно ответил Василий. – Дорогу я знаю.

Он посмотрел в блестящие, избегающие его глаза:

– Послушай, отец, ты что, выпил?

– Я выпил, – со странной готовностью согласился Александр Сергеевич. – А правду сказать, я запил. Паршивая штука, никак не могу бросить...

– Что значит – запил? – всё больше и больше удивляясь и стыдясь за отца, спросил Василий. – Ведь этого не было раньше...

– Ну, раньше ты маленьким был, не замечал. К тому же я и не пьянел никогда.

– У нас в армии многие пьют.

Он опустил глаза и сильно покраснел. Отец облегченно засмеялся.

– Как ты покраснел замечательно! Совсем как ребенком, бывало... И мама твоя тоже сильно краснела... – Легкая удивленная печаль пробежала по отцовскому лицу, но тут же растаяла. – Степан тебе сейчас воды нагреет, – старательно, словно с трудом вспоминая самые простые слова, сказал отец. – С дровами – всё время неполадки. То сырых привезут, то вообще никаких. Спасибо, что сейчас тепло, а то мы зимой сильно мучились. Воды тебе согреют, и будешь мыться. Потом пообедаем, поговорим. Ты, верно, спать хочешь?

– Я спал всю дорогу.

Отец вдруг снова крепко обнял его.

– Не судите, да не судимы будете, – зачем-то сказал он. – Иди, мальчик, мыться.

Намылившись, Василий посмотрел на себя в зеркало. Зеркало было знакомым до последней трещинки. За минувший год на груди его выросли мелкие красновато-золотистые волосы, сама грудь стала шире, на шее крупно и крепко выступал кадык. Он больше не мальчик. Мужчина. Арина любила его. При мысли о ней стало трудно дышать, лоб покрылся испариной и низ живота запылал и напрягся. Арина! Сейчас она, может быть, уже вернулась домой и кормит деревянной ложкой своего ребенка. Или баюкает его. А может быть, муж ее тоже пришел в отпуск, и они сейчас лежат, обнявшись, и муж гладит ее своими руками. . . Василий представил себе, как черные широкие ногти впиваются в ее горячую кожу, и чуть было не застонал вслух.

Отец ждал его за столом.

– Ты что, и в больницу не ходишь? – запинаясь, спросил Василий.

– Конечно, хожу, – спокойно ответил отец. Василий заметил, что он побрился. – Моим сумасшедшим безразлично, пьян доктор или не пьян. Лишь бы пилюли давал и не позволял зрителям руки распускать. А водка им – что? Ведь они не принимают.

– Ты маму вспоминаешь? – неожиданно для самого себя спросил сын.

Отец побледнел.

– Маму? – Он быстро налил и выпил. – Да как же не вспоминать? Мне кажется, Вася, что мама жива.

Василий так и подпрыгнул на стуле.

– Что значит – жива?

Сильно задрожавшими руками отец налил еще.

– А вот я не знаю! Не знаю, а кажется. И с самого начала это пришло в голову. Я тогда еще сказал себе, что, конечно, схожу с ума. Фотографию эту, которую Александра прислала, – я ее до дыр просмотрел. Покойница и покойница. Ни лица, ничего, одни цветочки.

Руки его задрожали сильнее, и он налил себе еще.

– Ты знаешь, что я понял, когда началась война и в тот же день пришла эта телеграмма о ее смерти? Я понял, что наступает конец всему. Не только жизни, не только цивилизации, но вообще всему. Всем человеческим отношениям, любви, ненависти. Останется один страх, а всё остальное разорвется, как паутина. – Растопыренными пальцами отец показал, как разрывается паутина. – И правды не будет, и лжи не будет, потому что не будет ничего определенного, понимаешь? Всё приблизительно. Сегодня так, а завтра наоборот. У меня какое-то почти видение было, что ли. Ну, что ты хочешь? – Отец испуганно улыбнулся и быстро опрокинул рюмку. – Вот и возись с сумасшедшими! Наверное, сам заразился. А потом я посмотрел опять на эту фотографию. Она или не она? Не знаю. Может, она, а может, совсем незнакомая баба. Какая-нибудь немка с курорта или француженка. А может, швейцарка. Померла и лежит.

И он с досадой махнул рукой, словно речь шла о каком-то недоразумении.

– Она ведь всегда хотела от меня сбежать, – отрывисто продолжал отец. – Хотела, да терпела. Потому что ты был маленьким, потому что денег я бы ей не дал ни копейки, и это она прекрасно понимала. А куда женщине без денег? Мостовую мести? Кроме того, она знала, что я бы ее все равно далеко не отпустил. А если бы отпустил, так она бы обратно на другой день прибежала.

– Почему?

– Так люди устроены. Если ты кого-нибудь держишь при себе, глаз с него не спускаешь, этот человек из окна будет готов выпрыгнуть, лишь бы от тебя удрать, а вот если ты его вдруг сам возьмешь да отпустишь! – Отец разжал кулак и встряхнул кистью руки. – Он к тебе прямиком обратно прибежит! Приползет. Потому что не хочет, чтобы ты его разлюбил. Боится, каналья. . . Все, Вася, бояться. Вот так же и мама твоя. . .

Василий хотел было возразить, но отец не позволил.

– Постой! Ты поймешь. И я дал ей денег. Приличных вполне. Потому что действительно устал. К тому же она сильно постарела и подурнела. Особенно меня оттолкнуло, что кожа у нее на груди вдруг стала немного морщинистой, а изо рта простоквашей какой-то пахло по утрам. А может быть, дело не в этом. Рухнула наша жизнь, и вообще вся вокруг жизнь рухнула. Я ведь с тобой и спорить не стал, когда ты решил на войну идти, помнишь это? А почему не стал? Не знаешь?

– Не знаю, – прошептал Василий.

– А потому что меня осенило тогда. Понял, что от меня ничего не зависит. Вот рюмка – и та не зависит! – Он быстро налил новую рюмку, и водка слегка перелилась через край. Отец вытянул губы и осторожно отпил, а потом быстро, как он это делал и в прежние разы, опрокинул остаток. Он не пьянел, только глаза становились лихорадочными. – Теперь я тебя удивлю, приготовься. Смотри, какое я письмо получил на прошлой неделе.

Он достал из кармана и протянул Василию конверт. На конверте стоял штамп: «месяц февраль, 1915». Неуверенными руками отец вынул из конверта письмо и положил его перед сыном. Почерк был знакомым. Такими большими торопливыми буквами, которые наклонно налегали друг на друга, писала только его мать. На самом письме не было даты.

– Читай! – приказал отец.

«...здоровье мое, слава Богу, поправляется, летом я всегда чувствую себя лучше, чем зимой или осенью, а лето здесь наступило рано, и сейчас очень тепло. Как только позволят обстоятельства, надеюсь вернуться домой, потому что очень волнуюсь за вас обоих. Как же вы там, без меня? Я много хожу и стараюсь не прислушиваться ни к каким разговорам и ни с кем не сводить знакомств. Жизнь здесь сильно дорожает, но моих скромных средств вполне хватает, наряжаться не для кого, да я и никогда этого особенно не любила. Конечно, я была права, когда сопротивлялась твоему настоятельному желанию отправить меня сюда на лечение. Уехать оказалось значительно проще, чем вернуться, однако я постараюсь, потому что...»

Дальше было густо замазано несколько строчек и стояла материнская подпись.

Василий положил письмо обратно на стол.

– Могло быть написано прошлым летом, правда? – спросил отец. – Вполне могло бы. А при нынешней военной неразберихе шлепнули неверную дату, и вот я его и получил две недели назад. А если другое?

– Что?

– А ты не понимаешь?

– Тогда откуда же... откуда же тогда... мы ведь тогда получили телеграмму? И фотография...

– Ну, что – фотография! – задумчиво прошептал отец. – Черт его знает, что там, на фотографии! Мама твоя – фантастического характера женщина. Вот это я знаю доподлинно! Могла пошутить, разыграть... – Он замолчал, лихорадочно глядя мимо сына. – Нет, что я говорю! Конечно, поставили не ту дату на какое-то заблудившееся письмецо, и оно пришло с опозданием на год. Всё! А я работаю в сумасшедшем доме, и мне такое стреляет в башку, что здоровому человеку и во сне не приснится! Но знаешь ли ты... – Он вылил в рюмку остатки водки. – Знаешь ли ты, что меня и тогда, как телеграмма пришла, сразу как током ударило. А что, если... А? Что ты скажешь?

– Но мама болела... – задохнувшись, возразил Василий.

– Болела! А кто не болеет! Ей поставили диагноз: раковая опухоль легкого, а она с этим диагнозом здесь, в Москве, восемь месяцев прожила, да всё на ногах, да скандалы устраивала! Какая же опухоль?

– Папа! Папа, что ты говоришь...

– Прости. – Отец отодвинул от себя пустой графин. – Слава богу, ты дома. Ты жив. Что мне еще нужно? Это всё, конечно, бред. – Он вложил письмо обратно в конверт и спрятал его в карман. – Больное мое воображение. Забудем об этом. Я, собственно, и запил от этого письма. Теперь брошу, раз ты, слава богу, вернулся... Забудь всё, о чем говорили.

– Ты был один всё это время? – спросил сын и добавил развязно, не глядя на отца: – И что, даже женщины не было?

Никогда прежде он не позволил бы себе так обратиться к отцу, но сейчас, вернувшись с войны, он получил это право.

– Ну, как тебе сказать? – усмехнулся отец. – Да, вроде один...

– А эта... которую мы – помнишь? – встретили тогда у Филиппова, когда мама... помнишь? Ну, как ее звали?

– А, Таня? Татьяна Антоновна? Она тебе тоже запомнилась, верно?

Василий затравленно кивнул головой.

– Не знаю, не знаю, – пробормотал отец. – С тех пор не встречались. Не знаю, не знаю...

* * *

Шестого июня в Московском Художественном театре состоялась панихида по Владимиру Шатерникову. На улице было прохладно, моросил тусклый зеленоватый дождь, и свежо, волшебнo, не по-военному пахло сиренью. На углу Камергерского и Большой Дмитровки Таню ждал двоюродный брат Владимира Шатерникова, артист Борис Зушкевич.

Он испуганно посмотрел на ее живот, слегка выпирающий из-под жакетки.

– Пойдемте скорее, вас ждут! – гибким молодым голосом, напомнимшим голос Шатерникова, сказал брат.

Таня отвела глаза.

– Что, начали уже? – спросила она.

– Ну, как же без вас?

– А что теперь я? – тихо спросила Таня.

– Как – что? – вспыхнул Борис Зушкевич. – Вы же... Вы – всё равно что жена... Владимир писал из Галиции... Когда просил, чтобы я вам... Ну, сообщил, если с ним что-то...

Таня сглотнула набежавшие слезы.

– Вы только не удивляйтесь тому, что сейчас увидите, – смущенно попросил Зушкевич и взял Таню под руку. – Актеры – такой народ... Они, даже когда плачут, всё равно не могут не играть...

Вошли в прохладное, полутемное из-за дождя здание театра. Густо напудренная, с распущенными светлыми волосами женщина быстро подошла к ним и, внимательно оглядев Таню ярко накрашенными глазами, сказала неожиданно низким, почти мужским голосом:

– Потеря, потеря! На всё воля Божья! Пойдемте скорее!

Таня испуганно оглянулась на Зушкевича и вместе с ним и накрашенной блондинкой вошла в зрительный зал. Прямо на нее со стороны сцены медленно двигалась похоронная процессия за белым, с серебряными рельефами, катафалком. На катафалк был наброшен черный балдахин, по обеим сторонам его выступали факельщики в белых фраках и цилиндрах, со светильниками, напоминающими уличные фонари. За катафалком медленно, опустив голову, высоко держа на вытянутых руках фотографию Владимира Шатерникова в траурной рамке, шел огромного роста человек. Таня в ужасе застыла на месте. Пройдя мимо нее, процессия уперлась в закрытые двери зрительного зала, плавно повернулась и двинулась обратно по направлению к сцене. Из глубины сцены послышались сдержанные рыдания. Таня увидела человек двадцать мужчин и женщин, одетых в темные крестьянские одежды. Все женщины были с распущенными волосами, в лаптях, а несколько – просто босые.

– Народ, народ! – смущенно забормотал ей в ухо Борис Зушкевич. – Народ, за который брат голову сложил, прощается с ним в нашем, так сказать, актерском обличье! Вернее, актеры в обличье народа...

Он запутался и закашлял. Из толпы народа выступил невысокий и очень грациозный крестьянин с большой шевелюрой и дымными, словно от рождения пьяными глазами. Он низко поклонился огромному человеку, державшему на вытянутых руках фотографию улыбающегося Владимира Шатерникова.

– Прости! – звучно, прекрасно поставленным чистым голосом сказал крестьянин. – Прости, моя любя, прости, русский воин!

– Прости нас, прости нас! – заголосила толпа, торопливо крестясь и кланяясь траурной фотографии.

Женщины опустили на колени. На чьих-то других, тоже высоко вытянутых руках выплыла икона Богоматери с Младенцем и, почти вплотную доплыв до фотографии Шатерникова, застыла.

– Сложил удалую головушку воин! – продолжал грациозный, с дымными глазами актер, про которого Зушкевич шепнул Тане на ухо: «Васька Качалов». – Обагрила кровь твоя чужую земелюшку! Недолго ты нас, твоих братушек, радовал!

– Недолго! Недолго! – крестясь и кланяясь, пропела толпа.

– Как жить станем, батюшка? – литым басом перебил Качалова огромный актер, высоко держащий над головой фотографию Шатерникова.

– Грибунин, Грибунин, – забормотал Зушкевич на ухо Тане, – сейчас всё закончат, недолго...

– Что это? – расширив глаза и не оборачиваясь, прошептала Таня. – Зачем это всё?

– Актеры! Иначе не могут. Ну, вы их поймите, они от души...

– Из того ли из города, из Москвы белокаменной, – нараспев заговорил Качалов, – из того ли села, из родимого, выезжал на лихом коне добрый молодец, добрый молодец, свет-Володюшка. У чужого города, у заморского, нагнало-то силушки, ох, черным-черно, ох, черным-черно, черней ворона. И пехотою тут никто не прохаживает, на добром коне не проезживает. Тут подъехал он, свет-Володюшка, на добром коне к черной силушке, и как стал ее да конем топтать, да конем топтать, да копьём колоть...

Таня зажала уши ладонями.

– Вам плохо? – испугался Зушкевич. – Они от души ведь!

Невысокая, с черными волнистыми волосами и очень черными бровями женщина подошла к гробу, низко поклонилась и поцеловала натянутую траурной тканью крышку.

– Ольга Леонардовна! – продышал двоюродный брат. – Она понимает, сама овдовела...

За Ольгой Леонардовной начали подходить остальные. Все они низко кланялись, размашисто крестились, и все целовали то место на крышке гроба, которое словно бы выбрала для целования черноволосая Ольга Леонардовна. Таня посмотрела на серьезное, мягко улыбающееся ей с фотографии лицо умершего жениха, и вдруг что-то больно ударило прямо в сердце. Она пошатнулась и всею тяжестью оперлась на руку Зушкевича.

– Пойдемте, пойдемте, подышим... – пробормотал Зушкевич, подхватывая ее.

Они вышли на улицу. Зеленоватый дождь перестал, но еще раздраженнее, еще сильнее пахло сиреню.

Толчок внутри ее повторился, но теперь он был мягче и гораздо ниже: в самую середину живота.

– Вам плохо, Татьяна?

Таня покачала головой.

– Хотите, вернемся?

– Да, лучше вернемся, – прислушиваясь к медленному, ноющему замиранию толчка, ответила Таня.

На сцене никого не осталось, но в большой комнате позади нее был накрыт стол. Поодаль – уже без факельщиков – стоял осиротевший гроб, и на нем – тоже осиротевшая, словно ставшая ненужной фотография Шатерникова. Актеры и актрисы негромко переговаривались вокруг стола и закусывали. Вина не было, но было много водки, разлитой в кувшины, как будто это вода.

– А мы тут будем небо коптить, пока люди гибнут! – говорил Качалов. Увидев вошедшую Таню, повел на нее своими дымными актерскими глазами. – Налить вам, прекрасная незнакомка?

– Нет, благодарю вас, – ответила она.

Ольга Леонардовна, только что подцепившая с большого блюда ломтик чего-то красного, обернулась.

– Поешьте, – просто сказала она, приподнимая густые черные брови. – Помянем героя!

Водку налили в граненые стаканы и выпили, не чокаясь.

– Все знают, кто вы, – продолжала Ольга Леонардовна, придвинувшись к Тане и оттеснив от нее быстро жующего двоюродного брата. – Хорошо, что у вас будет дитё. Носите прилежно.

– А я вот возьму и туда же! – мрачно сказал Качалов. – На поле сражений!

– Куда вам на поле сражений? – усмехнулся один из факельщиков, так и не снявший цилиндра. – Извольте остаться на своем месте!

– А вот не изволю! – оскалился дымный Качалов. – И вам, господин Станиславский, грех меня отговаривать!

– Да будет вам, право! – отмахнулся Станиславский. – Без грима боитесь на улицу высу- нуться. Там и без нас справятся.

– Верно, верно! – прорычал Грибунин. – Как мы вашего брата, немца, а, Ольга Леонар- довна? Как мы его? «Хоть одет ты и по форме, а получишь по платформе»! Так? «Глядь- поглядь, уж близко Висла, немца пучит, значит, кисло».

Вокруг засмеялись.

– Проводите меня, – попросила Таня Зушкевича, – мне пора.

Вышли на Тверскую. Дождь затих, и молодые листочки деревьев отчетливо вырисовыва- лись на ярком светлеющем небе.

– Дальше не надо, – сказала Таня. – Возвращайтесь в театр, я дойду сама.

Зушкевич смущенно затоптался на месте.

– Вы мне хотите еще сообщить что-нибудь? – резко спросила она. – Сообщите, пожалуй- ста.

Зушкевич покраснел.

– Вы в положении, Татьяна. Да?

– Вы разве не видите? – вспыхнула Таня.

– И это ребенок...

– И это ребенок Владимира Шатерникова! – оборвала она. – Вы сами могли догадаться.

Зушкевич вдруг низко, театрально поклонился ей.

– Я вас ненавижу! – сквозь хлынувшие слезы сказала Таня. – Ненавижу вас всех! Актё- ришки!

И быстро пошла от него. Опять что-то толкнуло ее изнутри. Она остановилась. Толкнуло еще, и тут же разлилась эта мягкая ноющая боль по пояснице, которая словно хотела отвлечь ее внимание ото всего остального на свете.

* * *

Отпуск Веденяпина-младшего заканчивался через четыре дня. Рука перестала болеть, и он уже не носил повязки. Они с отцом ни разу не вернулись к тому страшному разговору, который состоялся в день приезда Василия. Казалось, оба молча сошлись на том, что говорить об этом нельзя, а можно лишь думать, и то только порознь.

Отец начал снова ходить на работу в больницу, и по утрам Василий оставался один, валяясь в постели и просматривая свежие газеты.

В Петербург прибыл наследный японский принц Канина для помолвки с одной из великих княжон. Общественное мнение разделилось: часть русского общества видела в дальневосточном соседе нового полезного партнера, другая часть – не могла забыть торжествующего врага 1904 года. С фотографии на Василия смотрел испуганный узкоплечий азиат, сидящий в открытом автомобиле рядом с круглолицым и важным, похожим на истукана, русским генералом.

Концертный сезон в Москве украшают вечера русских народных песен, среди которых особенную любовью публики пользуются романсы барона Дельвига «Стонет сизый голубочек» и «Не осенний мелкий дождичек». Актриса Озаровская, вдохновленная истинно патриотическим порывом, отыскала во глубине дикого Севера народную сказительницу Кривополенову, с которой начала свои совместные выступления на сценах обеих столиц. Фотограф запечатлел актрису Озаровскую в тяжелом народном сарафане и очень народном кокошнике, державшую за руку аккуратную старушку в платке.

Генерал Корнилов, недавно сбежавший из австрийского плена и теперь восстанавливающий пошатнувшееся здоровье в пансионе Сыропятовой в Царском Селе, поделился воспоминаниями о том, как жестоко обращались с русскими пленными смотрители вражеских лагерей. Отвечая на вопрос газеты, что помогло самому генералу выжить в столь непростых условиях, генерал Корнилов сознался, что в плену у него появилась возможность предаться своему наилюбимейшему с детства занятию, а именно – рисовать карандашом головки сосущих палец младенцев.

В некоторых лавочках началась торговля наследием недавно скончавшегося профессора Мечникова – простоквашей «лактобациллин», вскоре переименованной в «лактобактерин», моментально заслужившей любовь населения.

Василий сбрасывал газету на пол и пробовал заснуть. Во сне появлялась земля, глубокая осенняя глина, и тени бредущих по глине людей, потом всё это пропадало и набегали мокрые рельсы, покрытые тающим снегом. Вид этих рельсов наводил смертельную тоску, от которой хотелось спрятаться прямо там, во сне, но спрятаться было некуда, потому что сбоку опять появлялись тени, но теперь он уже различал среди них знакомых солдат и какую-то женщину, в которой черты его матери наслаивались на черты Арины, при том что она была намного старше Арины и намного моложе его матери, и эта женщина с черной, как у Арины, косой и таким же, как у его матери, наклоном головы вызывала острый прилив нежности к себе и не менее острое телесное желание, от которого он всякий раз просыпался в страхе и холодном поту.

Теперь он был уверен, что мать его жива, и чувствовал, что отец, ни одним словом не упоминающий о ней, тоже уверен в этом. Кроме того, он был уверен, что, как только он уедет во вторник, отец его снова запыет, потому что остаться в этом доме, где она прожила столько лет, и всё, даже цветы на обоях в гостиной, напоминает о ней не меньше, чем ее до сих пор висящая в коридоре шубка, остаться в этом доме после ее письма, на котором стоит дата «месяц февраль, 1915», невозможно.

* * *

У Лотосовых на Плющихе было так тихо, как будто все прикоснулись к какой-то грустной тайне и все скрывали ее друг от друга этой особенно настороженной тишиной. Мать и Дина поселились в большой угловой комнате, где раньше был отцовский кабинет, который, как заявил отец, в условиях войны – совершенно ненужная работающему человеку роскошь. Раз или два в неделю тишину нарушала Динина игра на рояле, всегда однообразная и слишком властная. Танина беременность была принята отцом на удивление спокойно и трезво.

– Он разве не нравился тебе? – не выдержала она однажды.

– Нет, славный был парень, – устало ответил отец. – А доведись ему стать твоим мужем, я бы привязался к нему еще больше. Но ты сама не любила его так, как следует, Танюра.

– Я не любила?!

– В тебе очень много материнского, – неохотно сказал отец. – Вы с твоей матерью... Вы странные женщины.

– Какие? Какие мы женщины? – стыдась, что он заговорил с ней о таких вещах, пробормотала Таня.

– Женщины, которые любят не одного человека, – сказал отец. – Не одного, а, скажем, двоих или даже троих. Бывает такое.

– Как это – «двоих или даже троих»? Как это – «бывает»?

– Ну, что тут поделаешь? – Отец обреченно развел руками. – Для того мужчины, который имеет несчастье оказаться мужем такой женщины, это очень тяжело. Мужчина – собственник, и ему эту особенность, так сказать, в жене и матери своих детей никогда, разумеется, не понять. От этого много несчастных историй.

– Но как же... если женщина уже замужем? И у нее дети?

– Есть развратные женщины. – У отца вздрогнул и напрягся голос. – Но я говорю не о них. Эти просто не способны любить, поэтому их и бросает от одного к другому, у них вместо сердца – коробка от пудры! А я говорю об истинно любящих, добрых и страстных, которые не могут – ну, им не дано! – закрыть своё сердце на ключ и отдать этот ключ одному человеку! И тут начинается, конечно, безобразие. Несчастье и ложь. Об этом, в сущности, написал граф Толстой. Читала ты «Анну Каренину»?

И замолчал, словно испугавшись всего, что наговорил ей.

– Ты что, думаешь, что моя мама... – Таня испуганно оглянулась на дверь, за которой слышались приглушенные голоса матери, Дины и Алисы Юльевны.

– Думаю. – Отец поднял на нее красные, с лопнувшими сосудами глаза. – Я это понял, как только она сказала мне, что хочет развестись. На самом деле она совсем не хотела развестись, потому и вела себя так неуклюже. Ей было страшно расставаться со мной. И не только потому, что я не сделал ей ничего дурного и мы, в сущности, совсем неплохо, а иногда даже и очень хорошо жили, но еще и потому, что она не переставала любить меня. Искренно, нежно любить... Вот в чем дело...

– А как же тогда этот... Иван Андреич?

Отец обиженно засопел носом.

– При чем тут Иван Андреич! У Ивана Андреича – земля ему, бедному, пухом! – была своя история. Он любил доводить начатое до конца.

– Но я... нет, я – другое... – Таня невольно положила руки на свой округлившийся, приподнявшийся живот. – Я правда любила Владимира...

Отец исподлобья посмотрел на нее.

– Не вини себя, – сказал он, помолчав. – Ты нисколько ни в чем не виновата.

* * *

Работы в госпитале становилось всё больше и больше, раненные прибывали. Великая княгиня Елизавета Федоровна иногда и по целым суткам не ложилась спать.

В ходе летнего отступления 1915 года, после того как командование армией принял на себя сам государь и были оставлены все территории, занятые в ходе кампании 1914 года, потеряны все ключевые крепости и впервые в истории войны применены германским командованием удушливые газы, от которых прямо на поле сражения умерли более тридцати тысяч человек, после того, что не имело прямого отношения ни к сцене Московского Художественного театра, ни к мягким и быстрым движениям Таниного ребенка внутри живота, ни к свернувшемуся от внезапных ночных заморозков вишневого цвета листочку, упавшему на могилу Ивана Андреевича Зандера, ни к любопытному воробью, залетевшему в печную трубу и долго там бившемуся, ни к патриотическим утренникам, на которых ослепший брат Волчаниновой исполнил солдатскую песню «Он умер, бедняга, в забытой больнице...», после всего того, о чем писали газеты, хрипло бредили раненные, о чем догадались далекие равнодушные небесные облака – давно догадались в своем отдалении! – Таня вдруг поняла, что жизнь, бывшая с нею раньше, была не совсем настоящей жизнью. Теперь всё стремительно стало меняться.

– Какая ты стала другая, Танюра, – сказала ей Дина, взявшая за правило каждый вечер, перед тем как лечь спать, приходить в Танину комнату в длинной ночной рубашке, укладываться поверх Таниного одеяла и делиться тем, что случилось днем в гимназии Алферовой, где она теперь училась. – Слава богу, не похожа на эту гадюку, которая на нас с мамой такими глазами смотрела, что мне сразу убежать захотелось!

– Да как я смотрела? Тебе показалось!

– А ты что, не помнишь? – пожала плечами сестра. – Ты же нас тогда ненавидела.

– Неправда! Я вас тогда просто боялась.

– Знаешь? – И Дина обеими руками подняла над затылком свои тяжелые волосы. – Я иногда думаю теперь: конечно, это ужасно, что мама тебя бросила, что она ушла жить к моему папе и что тебе пришлось так много страдать от этого, но я понимаю, что *не могло не быть этого*. И это во всем так. Потому что, если бы мама не ушла, то и я бы ведь не родилась. Мы бы с тобой не узнали друг друга. А это ведь было бы хуже всего. Я вот теперь, когда думаю о чем-то важном, или обижаюсь на кого-то, или еще что-нибудь, я сразу вспоминаю, что вечером приду и всё тебе расскажу. Я даже маме не могу теперь всего рассказывать. Только тебе.

– Почему? – радуясь тому, что говорит сестра, и сильно смутившись от этого, спросила Таня.

– Не знаю. Нет, знаю! Ну, во-первых, потому что мама сейчас очень страдает. Она никогда такой не была. Ты ведь ее почти не знала раньше, а я помню, какой она была веселой, счастливой. Всё время смеялась. Когда мы жили в Германии и у них с папой всё было хорошо, она так много смеялась, что мне иногда даже стыдно за нее становилось. Встретим какую-нибудь даму на прогулке, мама начнет ей что-то рассказывать, а сама хохочет, хохочет...

Дина вдруг закусила губу и замолчала.

– Что? – спросила Таня, тут же догадавшись, почему она замолчала.

– Прости! – прошептала сестра. – Это должно быть очень больно тебе. Ну, то, что я сказала сейчас. Потому что получается, мама совсем не переживала, что ты... Что она тебя...

Таня обняла ее, притянула к себе и поцеловала. Дина испуганно улыбнулась в темноте.

– Я иногда простить себе не могу, что так мало расспрашивала маму о тебе! – возбужденно заговорила она. – Это было очень гадко с моей стороны. Но мама как будто и не хотела говорить обо всем... сама не хотела. – Она опять испуганно улыбнулась. – Ей, наверное, так было проще: молчит себе, и всё. Но я-то ведь знала уже, что у меня в Москве есть сестра!

– Ты маленькая совсем была. Что ты тогда понимала?

– Ну и что? Маленькие куда лучше больших понимают. Нет, это не оттого, что маленькая, а оттого, что мне не хотелось делиться.

– Кем? Мамой делиться?

– И мамой, конечно. И всем остальным.

– А теперь?

– Теперь по-другому. У меня как разорвалось. Вот знаешь? Там узел был, и я, кроме как о себе самой, совсем ни о ком не думала. Просто даже и не понимала, что кто-то еще бывает, кроме меня. И вдруг этот узел разорвался. Понимаешь? А как он разорвался, так стало всего сразу много. И много, и стыдно. Не знаю, как тебе объяснить...

Она опять обеими руками высоко подняла свои волосы, и черная тень на стене стала кудрявой, как дерево.

– Ты – очень хорошая, – шепнула Таня. – Ты намного лучше меня, ты добрее.

– Ах нет, я совсем не добрее! – горячо возразила Дина. – Когда мама сказала, что мы едем обратно в Россию и я скоро познакомлюсь там со своей сестрой, я стала каждый день перед сном представлять себе, как это будет, какая ты. И все время представляла тебя в большой белой шляпе.

– Почему в шляпе?

– Не знаю. Мне хотелось, чтобы ты была в большой белой шляпе. А ты оказалась сердитой, испуганной. Как я тогда разозлилась на тебя, если бы знала!

– Но что я такого...

– Ужасно! Ты всё мне испортила. Я мечтала о доброй и красивой сестре в белой шляпе, а ты выскочила из своей комнаты, как Баба-яга на метле. Чуть не укусила!

Обе засмеялись.

– Ты, верно, спать хочешь? – спохватилась Дина. – Тебе вставать завтра рано, а я тебе глупости рассказываю.

– Да я не хочу. Не уходи.

Дина с размаху улеглась обратно и натянула до подбородка одеяло.

– Няня всё время говорит, что этой зимой все помрут, – прошептала она. – Она говорит, что, когда царя на фронте убьют или в плен возьмут, тогда немцы придут сюда, в Москву, и мы помрем. Мы с Алисой ей говорим, что этого не будет, а она не верит.

– А мама что?

– Мама всё делает вид, что спит. Я в гимназию ухожу, она спит. Прихожу – тоже спит. Я иногда посмотрю на нее исподтишка и вижу, что у нее глаза открыты. Может быть, она заболела от тоски. Говорят, что это бывает, няня так говорит.

– От тоски по Ивану Андреевичу? – уточнила Таня и осеклась. – Прости! Я хотела сказать, по твоему папе.

– Тебе он – не папа, – вздохнула Дина. – За что ты прощения просишь?

Они помолчали.

– Скоро у нас твой ребеночек будет?

– В конце сентября.

– Ты очень боишься?

– Да, очень! А как не бояться?

– Не бойся! Если бы меня не было, тогда тебе было бы чего бояться. А я всё время буду с тобой. Не бойся!

Таня под одеялом пожала ее горячую маленькую крепкую руку. Вдруг стало легко на душе.

– Говорят, очень больно, когда рожаешь, нестерпимая боль. И это на много часов, иногда даже на несколько дней. Но боль – ерунда, я не боли боюсь. А где будет папа? Мне очень

стыдно, больше всего перед папой, потому что я ведь без мужа, и ничего у меня не было, как должно быть: ни свадьбы, ни помолвки. Володя убит... Иногда мне такие мысли приходят в голову! Что вот хорошо бы не проснуться! Заснуть вечером, а утром не проснуться!

Дина изо всех сил обняла ее. Ребенок внутри Таниного живота оттолкнулся ножками от того места, где оказался Динин локоть, и, почувствовав его, Дина всплеснула руками и засмеялась радостно.

– Ты видишь? – восторженно спросила она. – Я так его буду любить! Больше жизни!

* * *

Осень наступила незаметно. В самом начале сентября пошли бурные ливни, в результате которых за один день поредели и пожелтели сады, а небо, высокое прежде, надвинулось низко, как шапка, на город, на окна его и деревья.

Мать Тани и Дины, казалось, справилась со своим горем, перестала, во всяком случае, целыми днями лежать в постели, выходила вечерами к совместному чаю, занималась с Диной сама по всем предметам, но, главное, старалась как можно чаще уединяться с отцом и подолгу разговаривала с ним, понизив голос. Таня догадывалась, что разговоры касались ее, и ей было неприятно, неловко за мать, которая словно поставила целью слишком быстро и слишком уж просто наверстать болтовней то, что было пропущено в Танином детстве.

Начало одного из таких разговоров Таня однажды услышала.

– Я чувствую, – говорила мать, звякая ложечкой, – что нам с Диной лучше было бы сейчас уехать куда-нибудь, хотя бы в Финляндию, где до сих пор остался дом, и, может быть, там переждать, пока это всё закончится...

– Что – это? – перебил отец. – Война, ты имеешь в виду?

– Ну да, – нерешительно сказала мать, и по ее тону подслушивающая в коридоре Таня догадалась, что матери хочется, чтобы отец начал отговаривать ее.

– Смотри сама, – мрачно пробормотал отец. – Я бы не советовал, потому что никто не знает, когда это всё закончится, да и чем закончится...

– А чем это может закончиться? – вздохнула мать.

– Да чем? Чем угодно. Слышала, какие куплеты теперь распевают? «Небылица пришла, небывальщина, да неслыхальщина, да невидальщина...»

Мать грустно засмеялась.

– Но я не могу взвалить на тебя всё... Ты и так столько сделал для нас! И если бы не то, что должен родиться ребенок...

– При чем здесь ребенок? – опять перебил отец, и Таня почувствовала, как он покраснел. – Ты что, собираешься нянчить этого ребенка?

– Ты всячески подчеркиваешь, – прошептала мать, – что я не имею никакого отношения к своей дочери, раз мне не довелось растить ее. Это ведь ты подчеркиваешь?

Отец несколько раз кашлянул.

– Я ничего не *подчеркиваю*. Я просто смотрю правде в глаза. Да, ты не растила ее, и у этого факта есть свои последствия. Они есть. А как же иначе?

– То есть Таня не верит мне, не доверяет и не будет мне верить, что бы ни было?

– Мы не в штабе немецкой разведки, – почти грубо оборвал ее отец и тут же испуганно забормотал: – Прости, глупость брякнул!

Мать всхлипнула.

– Ну, что ты, ей-богу! – Таня поняла, что он, наверное, дотронулся до матери и, может быть, гладит ее по голове, как часто гладит Таню. – Я совсем не в упрек... Уж ты настрадалась!

– Разве я не понимаю, что вам будет лучше, когда мы уедем? Но Дина так привязалась к ней, она этим ребенком просто бредит!

– Не нужно тебе куда-то срываться! Пусть Дина хотя бы закончит гимназию...

– Ты хочешь, чтобы мы еще три года висели на твоей шее?

– У меня крепкая шея. Вот смотри. Видишь, какая? Как у быка.

Потом они оба вдруг замолкли. Таня старалась не дышать. Живот мешал ей, ноги затекали.

– Голубчик ты мой! – нежно и прерывисто воскликнула мать. – Я вспоминаю, как мы стояли с тобой под венцом, и думаю: вот если бы тогда мне сказали, что через двадцать лет я буду жить в твоём доме, и наша с тобой дочь будет, как няня говорит, «на сносях», и одна, не замужем, и жениха у нее убили, а я сама, только овдовевшая, сяду тебе на твою «бычью шею» с дочерью от другого человека, которого ты, должно быть, проненавидел всю жизнь...

– Глупости! – перебил отец. – Я не любил его, это правда. А за что мне было любить его, сама посуди? Но ненависти к нему у меня никогда не было. Зачем ты такие слова говоришь?

– А ко мне? – тихо спросила мать и всхлинула.

– К тебе? – глухо переспросил отец. – К тебе я только однажды почувствовал ненависть.

Но это прошло, слава богу.

– Когда? Когда я ушла?

– О нет, не тогда! Тогда я был просто растерян, раздавлен. Мне всё казалось, что произошло какое-то постыдное для меня недоразумение, я в чем-то не разобрался и отпустил тебя только по недоразумению, по глупой своей гордости... Нет, ненавидел я тебя не тогда, когда ты ушла...

– Скажи, а когда?

– К чему тебе это? – измученно пробормотал отец. – Столько лет прошло... К чему ворошить... Что за прихоть?

– Какая же прихоть? И раз ты уж начал...

– Хорошо! Давай я продолжу. Я возненавидел тебя, когда ты написала, что ждешь ребенка. Вот тут я действительно чуть с ума не сошел. Представил тебя беременной от Зандера, и меня всего перевернуло! Объяснить трудно. Но я тебе говорю, как было. Отвращение, которое я тогда испытывал, – к тебе отвращение, к нему, к будущему вашему ребенку, а больше всего – к твоему, чужому для меня, загаженному телу... Ох, лучше не вспоминать! И еще, знаешь, что меня тогда потрясло? Какая мысль в меня засела?

Отец глубоко и часто дышал.

– Какая?

Таня услышала, что мать плачет.

– Я задал вопрос тогда Богу: «За что? За что именно мне? Что я-то сделал?» Ну, сама посуди: не воровал, не убивал, не развратничал, и вдруг на ровном месте – такое несчастье! Ушла молодая, любимая, обожаемая жена, и ушла к другому, ни с чем не посчиталась, оставила меня, идиота, с девочкой на руках! И вот вам вдобавок, пожалуйста! Она ждет ребенка! И мне сообщает, как лучшему другу! А то, что я на нашей с тобой кровати спать не мог, велел ее выбросить к чертовой матери, что мне каждую ночь снилось, как я тебя обнимаю, и разрыдался однажды прямо в ординаторской, вспомнил, как Танька к нам маленькой в эту кровать прибегала в своей рубашонке, как ангелок, вся в веснушках... Ах, Господи, что говорить! Зачем мы начали с тобой этот разговор сейчас! Не понимаю!

– Прости ты меня, ради Бога!

– Вот Бог и простит.

Мать перестала плакать. Минуту была тишина.

– Погоди, дай мне уж тогда до конца досказать, – снова заговорил отец. – Однажды я снял с полки Библию, открыл книгу Иова, прилачился к лампе и стал читать. Там появляется сатана, который и говорит Господу, что, мол, дай мне испытать раба Твоего Иова, потому что разве даром он так богобоязнен? Не Ты ли, мол, Господи, кругом оградил его, и дом его, и всё,

что есть у него? А вот прости руку Свою и коснись всего, что есть у него, так благословит ли он Тебя после этого? И после того позволил Господь сатане погубить и детей Иова, и скот его, и дом, но Иов не возроптал против Господа, а сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет Имя Господне благословенно!» Но сатана и на этом не успокоился и стал говорить Господу, что за жизнь свою отдаст любой человек всё, что есть у него. «Коснись кости его и плоти его – благословит ли он Тебя?» И отступился Господь от Иова, а сатана поразил его проказой от подошв и до самого темени. Но Иов и тут не произнес хулы Господу, а взял черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. – Отец перевел дыхание и замолчал. Таня поняла: он догадался, что она стоит и подслушивает в темноте. – Дальше рассказывать?

– Да, – еле слышно ответила мать.

– Я скоро закончу. И вот не выдержал Иов своих страданий и проклял день свой и благословил смерть. Это так сказано: «Для чего не умер я, выходя из утробы? Зачем приняли меня колена, зачем мне было сосать сосцы?»

– Боже мой! – услышала Таня убитый и опять громкий голос матери. – Страшно как то, что ты говоришь... Ведь это любому так кажется...

– Нет, погоди! К тому же не я говорю, так написано. К Иову приходят друзья, чтобы поддержать его в горе его и сетовать вместе с ним. И вот один из друзей говорит ему, что, мол, человек рождается на страдание, как *искры*, чтобы устремляться вверх. А? Понимаешь? Я даже сначала не понял – как это? Я от своего страдания весь к полу пригнулся, от унижения только что ростом меньше не стал, а тут говорят, что от страдания человек должен, как *искры*, наверх устремляться! Как *искры*! Ты слышишь?

– Я слышу.

– Ну, вот. Я тогда очень многое понял. Не сразу, конечно. Но ненависть сразу прошла.

– Не верю я тебе! – вздохнула мать. – Это тебе так *хотелось бы* чувствовать...

– Ну, будет, – прошептал отец. – Поговорили и хватит. Всё давно быльем поросло.

– Да не поросло, не поросло, Антоша! Что ты меня утешаешь?

– А ты не уезжай! – забормотал отец. – Война кругом, мир шатается, люди гибнут, души разлагаются. У нас с тобой – дочери, страшно за них. Ты посмотри, ведь что такое война? Теперь все самое грешное, самое смрадное, что может быть в отношениях одного человека к другому, называют героизмом, раз это имеет место в отношениях между народами. Придумали там отговорку: «народы»! А что это значит? При чем тут народы? Россия в один день позабыла, что такое великая германская мысль, а Германия и вовсе объявила Россию диким варваром! И всё ведь позволено, ни в чем никаких ограничений! Ты посмотри, что они теперь в синема показывают! Мне коллега вчера рассказал, что они с женой пошли посмотреть одну фильму. Снят бой. И показано, как умирают. А ведь всякого человека любит же кто-нибудь!

Отец замолчал.

– Не смей никуда уезжать! – резко сказал он после паузы. – У нас с тобой дети. Две малые дочки. Одна, правда, с пузом, но это неважно.

Тяжело ступая на цыпочках, стараясь не скрипеть половицами, Таня вернулась к себе и, поддерживая обеими руками живот, легла на неразобранную постель. Она уже не сомневалась, что отец догадался, что она подслушивает, и обращался к ней не меньше, а, может быть, даже и больше, чем к матери.

Он любит мать, он любил ее все эти годы. Значит, все эти годы Таня, ни о чем не догадываясь, прожила бок о бок с отцовским мучением. Она вдруг остро вспомнила, как однажды летом они пошли гулять с Алисой, рвали ромашки и васильки для букета и незаметно зашли далеко, оставив позади желтое, с синими огоньками васильков поле, и вдруг хлынул ливень, и всё потемнело. Перед ними была деревня, и они бросились к первой попавшейся избе, задыхаясь от смеха и приятного страха, закрывая головы только что сорванными цветами... Они вбе-

жали в избу, где было очень тепло, полутемно, окошки закрыты. В полутьме Таня разглядела печь, стол и, как сначала показалось ей, корытце на лавке у окна, которое оказалось маленьким гробом, в котором лежал мертвый ребенок. За столом вполоборота к Тане сидела очень большая, с огромными плечами и грудью, слепая девка и с жадностью хлебала деревянной ложкой из стоящей перед ней миски, макая в нее куски хлеба и звонко причмокивая. По мертвому лицу ребенка ползали мухи, и те же мухи вились над миской, из которой хлебала слепая, и еще больше мух облепило недавно побеленную печь, которая, как сугроб, выплывала из темноты... Таню испугало тогда не то, что в избе, куда они случайно забежали, оказался мертвый ребенок, а то, что рядом с этим ребенком, на расстоянии вытянутой руки от него, спокойная, неподвижная, словно ее сделали из камня или вытесали из дерева, сидела эта девка и жадно, уставив в окно, за которым хлестал дождь и разрывались молнии, свои мутные белые глаза, ела и ела, не останавливаясь, словно не знала и не чувствовала никогда ничего другого... Тогда Таня еще не могла объяснить себе, отчего это так сильно впечаталось в память и отчего ее память всякий раз быстро и услужливо, словно картинку из волшебного фонаря, заново выдвигала тусклые, но страшно важные подробности этой минуты.

Сейчас она вдруг поняла. Она догадалась, что всё так на свете. Один умирает, другой – сидит ест. И мухи – на мертвом лице и на хлебе. Отец плакал в ординаторской, потому что его «любимая» – как он это сказал? – «молодая, обожаемая» жена ушла к другому человеку, этому самому несчастному Ивану Андреевичу Зандеру, а мать, как говорит Дина, до слез хохотала, болтая со знакомыми дамами на прогулке, и радовалась жизни. И всё это одновременно. И в этом – всё дело. Володя Шатерников лежал в госпитале и писал ей страстные преданные письма, а она в это время мечтала об Александре Сергеевиче, который однажды – один раз, единственный! – сказал ей: «Иди ко мне, девочка» – и она тут же с готовностью села к нему на колени.

– И это всегда так? – спросила она темноту и ответила себе: – Да, это всегда. Тогда всё понятно.

Что понятно, она не знала и не могла найти слово, которое объяснило бы это *что*, но чувствовала, что приблизилась к общему для всех людей закону жизни, которая тем и сильна, что не дает ничему живому остановиться, и более того, дольше нужного задержаться на чужой боли, но выталкивает из нее любого постороннего, и он, посторонний, как птенец, который крутит испуганной, мягкой своей головой, стыдясь и робея наставшей свободой, уходит в свое, где ему не мешают.

«Я никогда не забуду Володю! – подумала она. – Неужели я забуду его? – И вдруг покраснела до слез, хотя никто на свете не знал того, о чем она сейчас вспомнила. – Я такая же, как мама. А может быть, все мы такие?»

Внезапная острая боль пропорола ее. Она привстала, чтобы разобрать постель и лечь поудобнее, но та же самая боль снова выкрутила тело изнутри так, как выкручивают белье перед сушкой. Ладони и лоб стали мокрыми. Она села на корточки, вжала голову в колени, пытаясь спрятаться от этой боли, но тут же что-то горячее полилось из нее, и, зажав обеими руками рот, Таня сквозь побелевшие от боли и напряжения пальцы закричала так громко, что услышали не только мать с отцом, которые всё еще сидели в столовой, но и Дина, и Алиса Юльевна, и даже няня, которая давно уже слышала плохо и жаловалась на это...

Ребенок появился на свет в полдень. А в полдень на улице за окном было такое сильное солнце, словно опять наступило лето, и мертвые серые листья на яблоне сверкали, как будто рожденные заново.

Ребенок был мальчиком.

– Ого! – радостным, дрожащим от волнения голосом воскликнул отец, когда новорожденного, только что спеленутого, в белом чепчике, положили ему на руки, и доктор, прини-

мавший роды, заговорщицки подмигнул ему. – Вот это казак так казак! Ну, Танька! Я думал, ты хилая барышня! А ты нам, гляди-ка, кого родила! Илью просто, Муромца!

– Дай мне его! – протягивая руки к ребенку, попросила Таня. – Нельзя так держать, ты уронишь! Ну, папа! Ну, дай же скорее!

* * *

Скудная, тусклая, свинцовая осень прошла почти незаметно, запомнившись только бессонными ночами, болью растрескавшихся сосков, постоянным страхом, что няня, или Алиса, или отец, или вдруг резко вытянувшаяся, похорошевшая Дина сделают что-то не то и мальчик умрет. Это острое животное чувство, что хорошенький, крепкий, с молочного, нежного цвета щеками, с огромными голубыми глазами сын вдруг может умереть, было таким постоянным и так мучило ее, что Таня боялась спать и даже когда оставляла его, оставляла не больше, чем на двадцать-тридцать минут, тут же стремилась обратно, в детскую, туда, где был он и изо всех сил тарасил голубые, сосредоточенные на своей младенческой жизни глаза. Всех остальных она видела словно во сне. Во сне же к ней несколько раз приходил и Шатерников, и во сне она вдруг остро почувствовала его запах: он был таким же, как в день, когда они встретились в вестибюле госпиталя.

Реже всего, как ни странно, она сталкивалась сейчас с матерью. И Дину, и няню, и гувернантку, и – особенно – отца появление ребенка только приблизило к Тане, казавшейся им еще девочкой, которой нужно помочь, но матери тут же открылось другое, она одна угадала, что никакой девочки больше нет, а рядом с ней женщина – пускай молодая, но с твердым характером, – и эта женщина, только что высвободившаяся из девочки, барышни, и тут же проверившая на собственном опыте, что значит ребенок, которого ты родила, – эта женщина может осудить ее еще строже, чем прежде.

Зимой опять начались перебои с дровами, мукой, молоком, яйцами, все знали, что дела на фронте идут из рук вон плохо, но Татьянин день, праздник основания Московского университета, отмечался двенадцатого января так же весело, шумно, бестолково, как отмечался всегда, во все прежние годы. Отец, который обычно сторонился столь шумных увеселений, неожиданно изъявил желание пойти и долго приводил себя в порядок, стоял перед зеркалом – грузный, с широкими плечами и ярким взглядом. Остановившись в дверях его кабинета с Илюшей на руках, Таня вдруг подумала, что отцу-то всего пятьдесят лет и он обаятелен, бодр, умен и может еще очень сильно понравиться, особенно когда лицо у него вдруг по-молодому разглаживается и веселеет взгляд.

– Куда после ужина? – спросила мать, когда он, заматывая вокруг шеи белый шелковый шарф, стоял в коридоре, собираясь уходить. – Наверное, в «Яр» или в «Стрельну»?

Он быстро, внимательно взглянул на нее.

– Какая там «Стрельна»? А сухой закон?

– Какой там закон? – в тон ему ответила мать. – Кто его соблюдает в этой стране? Это тебе не Германия.

– Ну нет, не скажи! – Отец поднял вверх указательный палец: – «Лица, оказавшиеся виновными в нарушении государственного постановления, подвергаются заключению в тюрьму или крепость на три месяца, или аресту на тот же срок, или денежному штрафу в три тысячи рублей!» Во как! Не фунт изюму!

– Цыганок позвали? – усмехнулась мать.

– Война вокруг, милая, – закашлялся отец, – какие цыганки...

– Цыганки, которые пляшут, а также еще и поют, – уклончиво ответила мать и, наклонив голову, смерила его странным взглядом. – Какую из них ты особенно любишь? Наверное, Настю?

Тане показалось, что она ослышалась. Все эти месяцы, начиная с сентября, когда появился ребенок, ей было ни до чего, и она не представляла себе, что происходит совсем рядом с ней, в этом доме, да и происходит ли что-то. Сейчас оказалось, что – да, происходит. Отец иногда по два дня не возвращался домой из больницы, где дел становилось всё больше и больше, а медикаментов и перевязочных средств всё меньше, несмотря на то что ни один человек в Москве не верил ни патристическим лозунгам в газетах, ни глупым народным частушкам, сочиняемым господами поэтами, ни дурацким представлениям в театрах, вроде «Тетушка огерманилась» или «Вова на войне», ни фильмам на экранах кинематографов «Подвиг рядового Василия Рябова», «Слава нам, смерть врагам», а верили только людям, которые возвращались оттуда, хотя вернувшиеся были немногословны. Происходило это оттого, что военная жизнь гораздо проще, чем она кажется со стороны, и даже ужасное слово «бой», сопряженное для гражданского человека с огнем, криком «ура-а!», устремлением вперед и неминуемой гибелью, – даже это слово означает только то, что прежде всего нужно вырыть окоп, настелить в него свежей соломы, набросать полушубков, установить телефон и когда поступает распоряжение обстрелять такую-то или такую-то высоту, то не стоит делать этого сразу, потому что есть еще время достать портсигар и перекурить. Они, то есть военные люди, знали, что на войне никто никого не ненавидит, если не считать только минут ярости и слепого остервенения в пехотных атаках, и убивают друг друга по тому же неведению, безответственности перед Богом и равнодушной беспечности, согласно которым живут и в обычной своей гражданской жизни, где вместо убийства прямого всякий норовит убить своего ближнего косвенно или подставляет собственную свою, лысеющую голову под тихий, но не устанный топор...

Обычно отец приходил домой из госпиталя уставшим, заглядывал в детскую, где крестил и целовал маленького Илюшу, потом мылся, наскоро ел то, что оставляли ему на столе, и валялся спать. Казалось, ни на что другое у него нет и не может быть ни сил, ни времени.

Двенадцатого января метель в Москве была сильной, и лошади вязли, брели совсем медленно, а извозчики в толстых, как подушки, тулупах были особенно разговорчивыми и дружелюбными, поскольку все выпили где-то – тайком и на скорую руку, – лишь бы не мерзнуть, а главное, не пропустить в такой сумасшедшей метели своих седоков.

Илюша не спал и не давал заснуть Тане, которая всякий раз приходила в ужас от его плача, боясь, что он означает какую-нибудь болезнь, и сейчас, качая его, напевая, мурлыча, она то и дело выбегала в прихожую, чтобы проверить, не вернулся ли отец с его холостой и веселой пирушки. Замученная, под утро она все-таки заснула, провалилась, но сквозь сон ей послышалось, как кто-то возится в прихожей с замком, потом прошелестели шаги, похожие на шаги ее матери, потом в раскрытую дверь детской влетела струйка свежего морозного воздуха, и Таня, не раскрывая глаз, увидела, что струйка эта была розоватого зимнего солнечного цвета, потом она услышала, как рассмеялся отец, и звук его смеха был похож на тот, с которым весною радостно и хрипло звучит дерево, освобождаясь от целую долгую зиму давившего на него мерзлого снега.

Таня хотела позвать отца, попросить его немедленно осмотреть Илюшу, который, правда, уже не плакал, но спал беспокойно и был очень красным, но не хватало сил встать, разлепить веки, и только поэтому она и не увидела, как весь запорошенный снегом отец вытирает мокрое лицо носовым платком, и это лицо дрожит и счастливо морщится, потому что мать, только что выбежавшая в прихожую, обнимает его за плечи и шепчет о том, как заснуть не могла, сходила с ума, а он пил там, с цыганками...

* * *

Жизнь, просто жизнь, московская, зимняя, с запахом печного дыма и позвякиванием трамваев, с запахом свеженаколотых дров по утрам, с криками замерзших лотошников, с

черными, слегка еще липкими после типографии газетными листами, которые неумолимые мальчишки, шмыгая красными, распухшими от холода носами, норовили как можно быстрее продать, чтобы спрятаться в тепло, как прячутся птицы, как прячутся звери, – здоровая московская жизнь, которая не знала и не догадывалась, какие ее впереди ждут сюрпризы, была весела, развлекалась, шумела, хотя в этом шуме ее было много и странного. В феврале, вскоре после того как мать Тани Лотосовой из угловой комнаты, в которой она жила вместе с Диной, переехала в спальню, где прежде – один – спал отец, и комната эта, отцовская прежде, стала называться «маминой», и у отца по утрам были немножко сумасшедшими его припухшие от недосыпания и постоянной работы глаза, именно в феврале, когда поражения русской армии на фронте оказались особенно тяжелыми, и трупами русских солдат чернели чужие далекие земли, и некому было отпеть, похоронить (всё делалось быстро, небрежно, устало!), именно тогда шумное московское веселье, несмотря на сухой закон, нехватку продовольствия, дров, товаров для дам и господ, шоколада, ванили, достигло особенно смелого взлета.

Все знали, что именно в феврале ожидается сразу два очень важных для всего города и счастливых события: выход на экраны новой фильма Якова Протазанова «Запрягу я тройку борзых, темно-карих лошадей» и соревнование по конькобежному спорту среди мужчин на катке на Девичьем поле, минутах в пяти от Плющихи.

В доме замечали, что Дина стремительно превращается из кудрявого и неловкого подростка с длинными руками и очень большой головой в особую красоты девушку, держащуюся всегда слишком прямо, так прямо, что ее позвоночник, безукоризненный набор тридцати четырех позвонков, соединенных между собой хрящами, суставами, связками, напоминал, как шутил отец, сложный музыкальный инструмент, которым она в совершенстве владеет.

– А ну-ка, согнись! – просил он, и Дина легко касалась головой пола. – А мостик умеешь?

Она изгибалась, закидывала верхнюю часть туловища назад, опиралась ладонями, лицо ее сильно покраснело, волосы водопадом ложились на ковер...

– Одна девка – горе, а две – катастрофа! – сказал однажды отец. – Спасибо, хоть парень родился. Всё легче!

На Девичье поле привезли полосатые, синие с красным палатки, тут же повалил приятный чад от свежих блинов в лотках, утоптаный снег запестрел конфетными обертками, в самой большой палатке на круглом столе выставили огромный самовар, и вся толпа, обрадованная тем, что можно напрочь забыть о войне, устремила глаза на еще пустой, сверкающий каток, по которому важно, с сознанием собственной незаменимости и особой торжественности праздника, ходили бородатые дворники и без толку мели безукоризненно гладкий, похожий на зеркало лед.

Мать отказалась идти на соревнования, но Таня, закутав Илюшеньку так, что только его крошечный лоб торчал из белых кружев, отправилась вместе с Алисой и Диной. У самого входа они столкнулись с братом и сестрой Волчаниновыми.

Петр Волчанинов, которого Таня помнила сперва мальчиком, потом подростком, потом очень высоким, красивым юношей и про которого она знала со слов его сестры Ольги, что, ослепнув от полученного на фронте ранения, он все эти месяцы сильно пьет, держался сейчас особенно молодцевато, на черную повязку, закрывающую его слепые глаза, низко была надвинута новая боярская шапка, аккуратно подстриженные усы блестели на солнце. Он ощупью поймал Танину руку, аккуратно и ловко снял с нее пуховую перчатку, поцеловал в ладонь и так, словно он прекрасно всё видит, воскликнул густым и смеющимся басом:

– А где наш младенец? Давай-ка показывай!

Таня быстро и горько переглянулась с Олей Волчаниновой, а Дина, которая покачивала коляску со спящим Илюшенькой, отступила на два шага назад, как будто и впрямь Волчанинов мог вынуть оттуда младенца.

Народу собралось много, и все то ли были, то ли казались прилично и чисто одетыми, здоровыми и счастливыми. Среди этих здоровых и веселых людей выделялись раненые, такие, как Петр Волчанинов: кто с черной повязкой, кто на костылях, кто с обожженным, белым, сморщенным, как лесная поганка, лицом, и они, эти раненые, своим видом, а главное, жалкой попыткой разделить общую радость мешали остальным, поскольку – не будь их на этом катке – никто и не вспомнил бы даже о смерти.

Наконец на лед вышли конькобежцы в обтягивающих их худые тела, плотных ярко-синих костюмах, в шапочках, от которых головы казались маленькими и словно ненужными, и всё это вместе – мускулистое узкое тело с маленькой головой – делало каждого из них похожим на гигантское, вставшее во весь рост насекомое. Они помахали публике напряженными руками, и первая тройка заняла положение «на старт». Таня смотрела на лед, желая разделить то счастливое чувство, которое, как ей казалось, переполняло всех собравшихся, но тут же тоска охватила ее. Опять это странное ощущение, что каждый на свете живет сам по себе, и никому нет дела до того, что умер, к примеру, Володя Шатерников, и в эту самую минуту – нет, именно в эту секунду, – когда трое в синих костюмах сорвались с места и мерно, легко, словно их завели одним и тем же ключом, понеслись по ледяному зеркалу, и глуховатое шуршание лезвий разрезало воздух на множество лент и резало дальше, всё мельче и мельче, в эту самую секунду ведь кто-то опять умирает и стонет, а здесь, на катке, этот шум, этот праздник...

Она наклонилась к Илюшеньке, чтобы убедиться в том, что ему не холодно, и почувствовала на своей шее, там, где туго закрученная коса опускалась на скользкий мех воротника, взгляд знакомых глаз. Она не могла видеть спиной, но то, чьи это были глаза, ей сразу сказалось всё тело, которое вдруг стало очень горячим. Она знала, что это он, и одновременно не верила себе, и боялась обернуться, чтобы не убедиться в своей ошибке, и потому еще помедлила, еще постояла в этом согнутом положении, как будто бы тоже была конькобежкой и только ждала, чтобы крикнули «марш!», и только потом медленно разогнулась и, покраснев до слез, тихо посмотрела на него. Александр Сергеевич стоял прямо за ее спиной и ответил ей таким же тихим неувидившимся взглядом. Таня вдруг испугалась, что он сейчас уйдет, смешается с толпой, исчезнет, и, чтобы этого не произошло, быстро положила ладонь на его рукав.

– Вы! – пробормотала она и, понимая, что нужно немедленно убрать ладонь, не только не сделала этого, но еще ближе придвинулась к нему, словно давая Александру Сергеевичу возможность обнять себя. – Откуда вы здесь?

Он, кажется, что-то ответил, но что? Она не услышала. Александр Сергеевич слегка улыбнулся, взял ее руку, прижал к своему рту, но не поцеловал, а подышал на нее, как заботливые родители дышат на руки своих детей, замерзших от долгого гулянья. Она не заметила того, что и Дина, и Алиса Юльевна, и Оля Волчанинова смотрят на нее во все глаза, не заметила того, что первая синяя тройка мускулистых, с маленькими головами, гигантских насекомых описывает уже второй круг, не заметила, что медленно и вяло, словно понимая, что сейчас не следует этого делать, пошел редкий снег. Она ничего не заметила.

– Не нужно только плакать сейчас, – прошептал Александр Сергеевич, не выпуская ее руки. – Не плачь сейчас, слышишь?

Она торопливо кивнула. Вокруг закричали, захлопали.

– Мень-ши-ков! Мень-ши-ков! Алеша! Алексей! Мень-ши-ков!

Конькобежец по имени Меньшиков, первым прошедший дистанцию, снял шапочку и радостно размахивал ею над своей кудрявой белокурой головой. Толпа хохотала, свистела, гремела.

– Мы можем уйти отсюда? – спросил Александр Сергеевич одними губами.

Она оглянулась беспомощно. Дина смотрела так, что, сделай Таня хотя бы шаг в сторону, она бы, наверное, вцепилась в нее, как кошка. Алиса Юльевна и Оля Волчанинова отвернулись и делали вид, что заняты соревнованиями.

– Нам не дадут здесь поговорить, – сказал он тихо. – Вы ведь уже не работаете в госпитале?

– О нет, я давно не работаю.

– Да, вижу. – Он кивнул на коляску. – Тогда завтра в полдень у вашего дома.

Она быстро подсчитала: Илюшу кормить нужно в десять, потом он до часу поспит.

– Хорошо.

– Тогда мы увидимся завтра.

Александр Сергеевич выпустил ее руку, но не двинулся с места. Ей хотелось спросить у него прямо сейчас, почему он исчез тогда, год назад. И, может быть, пока он не ушел, сказать ему сразу, что, если он опять исчезнет – если он опять, как тогда, – то этого просто ведь не пережить, и всё это стыдно, да, стыдно, ужасно...

* * *

Василий Веденяпин всё больше и больше привыкал к своей военной жизни и, хотя война не приносила ничего, кроме потерь и разочарований, понимал – не умом, а всем своим существом, – что на войне *можно* продолжать жить хотя бы потому, что здесь не ошибешься, кто живой, кто мертвый, кто раненый, как не ошибешься, кто друг, кто подлец, а там, *в миру* (он неожиданно вспомнил это выражение, и оно понравилось ему), там всё запутанно, и, если человек, дожив до почти двадцати лет, не может даже поручиться, что мать не обманула его, прислав телеграмму о собственной смерти, то что же *там* делать? Ну, есть, пить и спать. А зачем?

Он старался совсем не думать об отце, потому что невозможно было думать об отце отдельно от матери, старался не вспоминать мать, потому что тогда на ум сразу же приходил отец и, главное, возникал прежний неразрешимый вопрос: что такое могло быть между его родителями, из-за чего их общая жизнь превратилась в пытку? Ему самому было ясно, что он не только никогда не женится и не заведет детей, но даже и привязываться к какой-то одной женщине не имеет смысла, потому что всё это кончается одним: предательством, ложью и смертью. Арина еще долго мучила его своим незримым присутствием. Ночью он вдруг просыпался оттого, что чувствовал под своими ладонями ее тяжелые и очень горячие груди, грудной ее голос, иногда звучащий так, будто она, обращаясь к Василию, одновременно разговаривает с кем-то еще, и от этого весь самый простой разговор вдруг приобретал какую-то хмельную многозначительность, этот грудной ее голос иногда вдруг окликал его посреди серых будничных дел, и он останавливался, замирал, не понимая, что это с ним. Но постепенно и Арина начала стираться в памяти, и особенно сильно он ощутил, как ее словно бы размывает внутри, размывает ее черты – ее этот голос, и тело, и запах – по всей остальной его жизни, как дождь, уже закончившийся высоко в небе, продолжает мягко спускаться с листвы на стволы, стекает на землю, уходит под травы. Он ощутил это расплывание, размывание ее воображаемого, но сильного продолжения внутри себя, когда тяжело заболел во время одного из изнурительных переходов, лежал в походном лазарете с ноющей болью во глубине левого глазного яблока, и ему казалось, как что-то выковыривают из его головы большой и холодной круглой ложкой, которой пользуются мороженщики, но если удастся извлечь это «что-то», то боль его сразу пройдет. Потом он вдруг понял, что это из него «выковыривают» Арину, которая прилипла и не хочет уходить, и тогда он сделал судорожное, рвотное движение напрягшимся животом, чтобы освободиться от нее, и, кажется, освободился.

Перед самой Пасхой пришло письмо от отца:

Дорогой Вася, никак не могу примириться с мыслью, что ты так далеко от меня и продолжаешь воевать, непонятно за что и зачем. Если бы не этот по-прежнему невыносимый для меня факт, что на войне находится мой единственный сын, я бы, наверное, мог рас-

суждать даже и так, как рассуждают многие из моих коллег и знакомых. Они говорят, что война, хотя и трагическое событие, но может быть праведной и даже священной, поскольку Отчизна приносит своих сыновей в жертву некоей наджизненной, а лучше сказать, национальной идее. Когда я слышу подобные изречения, у меня горло перехватывает от отвращения, и я поскорее ухожу, чтобы не присутствовать при этом. Даже если в теории – только в теории, Вася! – и возможна такая война, то в ней должны соблюдаться хотя бы два условия. Но прежде вопрос: что это за идея такая, во имя которой должны гибнуть люди? Это должна быть какая-то по-настоящему высокая, а лучше сказать, божественная идея, а не та или иная человечья выдумка. Это, на мой взгляд, первое главное условие. Как видишь, оно малосбыточно. И второе условие – это то, что каждый без исключения человек должен быть согласен на то, что именно его жизнь приносится в жертву вот этой идее. Оба эти условия невыполнимы и нежизнеспособны. Ты сам знаешь, что люди (а сейчас я говорю о русских людях) воюют вовсе не за идею, которую им старается навязать начальство, а потому что, если они не будут воевать, им всем – прямая дорога на суд и смерть через расстрел или повешение. Говорить о «защитниках Родины» могут только фанатики или мерзавцы. Мы с тобой когда-то, когда ты был еще подростком, рассуждали о том, как лучше вести себя государству, которому объявляют войну. Ты тогда сказал очень мудрую и совсем недетскую фразу: «А если взять все иконы, которые только есть у русских, собраться всем вместе и выйти навстречу врагам? Немцы, или турки, или шведы – они ведь такие же люди. Они тогда поймут, что не нужно никого убивать, и, может быть, им станет стыдно». Чем дольше я думаю об этом, чем дольше живу и мучаюсь страхом оттого, что мой единственный сын находится внутри этого адского пекла, тем глубже укрепляется во мне мысль, что нет и не может быть никакой правды в войне, и прав был Толстой, который считал, что война – это всегда только ложь, только безумие.

И еще кое-что, очень важное, я хотел сказать тебе. Прости меня, Вася, за то, что я не удержался тогда и показал тебе мамино письмо. Это грех мой перед тобой, моя непростительная вина. Во глубине души я, конечно, добивался одного: чтобы ты разделил со мной мои страхи или, может быть, успокоил меня тем, что все эти дикие предположения – не что иное, как моя больная фантазия. По твоему совсем побелевшему, испуганному лицу я сразу увидел, что этого нельзя было делать, но было уже поздно: я влил этот яд в твою душу, а как помочь теперь тебе, не знаю. К моему постоянному ощущению, что я был всегда виноват перед твоей матерью, прибавилось то же самое ощущение по отношению к тебе. Но супружество, мой дорогой, подобно замку и дужке: если одно хоть сколько-нибудь не подходит к другому, хотя бы на долю миллиметра, – ничего не поделаешь. Замок просто нужно сменить. Моя вина перед мамой заключалась в том, что я это понимал с самого начала и всё-таки заставил ее выйти за меня замуж, верней, убедил ее в том, что больше ей ничего не остается.

Раз ты прочел ее последнее письмо и уже подготовлен, жди теперь любого сюрприза от своей матери.

На это письмо Василий Веденяпин просто не стал отвечать. Его батарея вторую неделю стояла на отдыхе. В двух маленьких комнатах помещалось десять человек нижнего офицерского состава. Все были раздражены, измучены, больны, все ненавидели друг друга за то, что в каждом видели отражение себя самого, и, главное, каждый испытывал почти непереносимое для человеческой души состояние полнейшей неизвестности, а стало быть, и безнадежности будущего. О смерти никто не говорил, но чувствовалось, что именно это глубоко засело в сознании, хотя именно этим и было труднее всего поделиться.

Василий Веденяпин пытался настроить себя, что даже такой отдых всё-таки лучше, чем то, что выпадает сейчас на долю пехоте, которая в этот двадцатиградусный мороз стоит на передовых постах и каждую ночь ходит в разведку по глубокому снегу или в атаку, выпрямив-

шись во весь рост, под пули и пулеметы. Отец зря напомнил ему детские эти, дурацкие рассуждения о том, что людям не нужно воевать, а нужно идти навстречу врагам с иконами, распевая молитвы. Люди не могут не ненавидеть друг друга, и война есть не что иное, как самый верный и чистый способ освободиться от этой ненависти хотя бы на время, реализовать ее в конкретном и жестоком поступке. Он чувствовал, что в душе его не остается почти ничего, чем можно было бы «накормить» поселившуюся в ней тоску и раздражение, которые, как две голодные сторожевые собаки, ждут только того, когда хозяин обратит на них внимание, чтобы зарычать или гроыхнуть цепью. Никаких нежных, или детских, или любовных воспоминаний не осталось в нем, и даже то, что прежде, еще даже месяц назад, до болезни, успокаивало или вызывало внутренние слезы раскаяния и печали, перестало существовать, и чем красочнее, чем «жирнее» были те куски памяти, которые изредка еще просыпались внутри, тем быстрее они заглатывались этой раздраженной тоской, которая, злобно облизываясь после проглоченного, вновь устремляла на него свои голодные желтые глаза.

* * *

Дина, слава богу, была в гимназии. Алиса, которая никогда ни о чем не расспрашивала и верила всему, что ей говорят, тут же согласилась побыть в детской с уснувшим Илюшенькой, пока Таня «сходит в аптеку». Мать, как всегда, до возвращения Дины из гимназии и отца из госпиталя не выходила из своей комнаты. Сегодня намечался «банный» вечер с большой стиркой для всего дома и мытьем, в три должна была прийти прачка, и времени встретиться с Александром Сергеевичем оставалось совсем немного.

Тане показалось, что со вчерашнего вечера она изменилась так сильно, что все в доме должны заметить это. Лицо у нее горело, волосы выбивались из пучка, левая рука никак не могла попасть в перчатку.

Что он скажет ей? А она? Нужно было рассказать о смерти Володи Шатерникова, о том, что она почти не плакала тогда, но горе осталось внутри, осталось навсегда, что теперь вся ее жизнь – только в сыне, они живут вместе, одной семьей: и мама, и папа, и девочка Дина, которую он, наверное, заметил вчера на катке. Ее не заметить нельзя, ведь такая красавица.

При этом она понимала, что, согласившись вчера на эту встречу, она словно бы освободила что-то, вытащила на свет то ждущее, исподволь выматывающее ее, то, чему она не знала названия, чего не было (и быть не могло!) в ее любви с Володи Шатерниковым и о чем она вдруг догадалась однажды, когда они обедали с Александром Сергеевичем в ресторане и он повелительно, просто усадил ее себе на колени. Это было похоже на то, как однажды, когда она гладила тяжелым раскаленным утюгом свою сорочку, ее окликнул кто-то из столовой, и она, дернувшись, дотронулась до утюга краем ладони. Боль была жгучая, мгновенная, но странно, что тут же прошедшая, хотя и сейчас еще на ладони заметна тонкая белая ниточка.

Боясь, что ее непременно кто-то увидит – мать из окна спальни, Алиса или няня, – она выскользнула из подъезда и почти бегом заспешила в сторону аптеки. Александр Сергеевич негромко окликнул ее. Он шел по противоположной стороне улицы, она даже и не заметила его.

– Думал, не догоню, – слегка задыхаясь, сказал он. – Здоровье-то уже не то. А вы приступились, как лань.

– Я к вам на минуту, – дрожащим голосом ответила она. – Мне трудно сейчас отлучаться из дому.

– Ребенок? – улыбнулся он.

– Ребенок. Илюша.

– Вы кормите?

Она огненно покраснела.

– Чего тут стесняться? – спросил он. – К тому же я доктор. Не будете же вы стесняться доктора?

– Не доктора. – Она чувствовала, что сейчас заплачет от волнения. – Но вас я ужасно стесняюсь.

– Вот так напугал?

– Вы не виноваты в этом, – прошептала она. – Это я сама...

– Дурацкое время! – раздраженно сказал он и поднял воротник. – Мне даже пригласить вас некуда. Филипповская, и та закрылась. Муки не хватает.

– Я бы туда всё равно не пошла. – Она опустила голову и исподлобья посмотрела на него.

– Да я пошутил, – опять усмехнулся он. – Меня туда тоже не очень-то тянет.

– Вы сейчас живете один? – спросила она и тут же поняла, что этого не нужно было спрашивать: он, может быть, что-то подумал, ужасное.

– Да, – ответил он, помедлив. – А с кем же? Василий на фронте. Вы замужем, как я могу догадаться?

Она, наверное, ослышалась. Неужели он не понял, что Илюша родился без отца, что она не замужем и жених ее убит? А иначе она разве бы выбежала к нему сейчас?

– Я *была* замужем, – неожиданно для себя ответила она. – Но мужа убили. Илюша родился уже после этого.

– Примите мои соболезнования, – сдержанно сказал он, и по его блеснувшим глазам Таня поняла, что он не поверил ей. – Я думаю: как вам досталось!

– Мне? Так же, как всем.

– *Всем*, – напирая на это слово, пробормотал он, – еще, боюсь, достанется. К тому идет.

– Что вы такое говорите? – ахнула она. – У меня же сын...

– Какая вы всё-таки прелесть! – усмехнулся Александр Сергеевич. – Как взяли и просто, разумно ответили!

– Но это ведь правда! – возразила Таня, чувствуя, что перестает робеть и бояться его, как будто само слово «сын» придало ей силы и уравнило их. – Я не должна думать о том, что всё будет ужасно, потому что моему сыну *должно* быть хорошо. Это так *должно* быть, вы понимаете меня? Иначе зачем я живу?

Александр Сергеевич пристально смотрел на нее.

– Странная штука! Как вы быстро меняетесь. Когда мы обедали тогда – год назад, да? – вы тоже были уже другой, но сейчас – просто до неузнаваемости. Как будто лет десять прошло.

– Наверное, тоже расту...

– А может быть, вы уже выросли? – Он неожиданно сильно побледнел, как это случилось с ним иногда.

Она опустила глаза. Александр Сергеевич быстро, воровато оглянулся. Улица была пуста, тиха, слабо освещена солнцем.

– Пойдемте сюда! – Он схватил ее за руку, и они очутились во дворе дома под номером 36, на котором висела скромная мемориальная табличка, говорящая, что поэт Афанасий Фет умер в этом доме в 1892 году.

У самого сарая лежали промерзшие дрова, накрытые рогожей, и два воробья озабоченно выклевывали что-то из снега. Александр Сергеевич обнял ее и жадно несколько раз поцеловал в губы. Она попыталась оттолкнуть его, но он был сильнее, не отпустил и обеими ладонями прижал ее лицо к своему.

– Молчи, ничего не говори! – обжигая ее лоб своим дыханием, пробормотал он. – Теперь уже можно, теперь ты большая...

– Что – можно?

– Что – можно? – Он засмеялся и поцеловал ее, не переставая смеяться. – Теперь тебя можно – любить.

- Пустите меня! Я должна быть уже дома! Меня могут хватиться!
- О, я понимаю! – покрывая поцелуями ее лицо, шею, воротник, задыхаясь, ответил он. – Тогда мы увидимся завтра. Ведь я в двух шагах. Здесь, на Малой Молчановке.
- Она оттолкнула его обеими руками. Александр Сергеевич тяжело дышал.
- Я ни за что не приду, слышите? – отчаянно сказала она. – У меня сын, у меня ребенок! Как вы смеете мне даже предлагать такое?
- Слезы вдруг хлынули сами, она не смогла удержать их и громко всхлипнула.
- Александр Сергеевич прижал ее к себе еще крепче.
- Ну, счастье мое, радость моя... Моя маленькая девочка, бедная моя, измученная, маленькая девочка...
- Я не девочка, – прошептала она, затихнув в его руках и перестав вырываться. – Я очень люблю вас, и мне очень страшно...
- И мне самому очень страшно. А как же не страшно? Ведь это же только начало. А кто его знает, начало – чего? Ты завтра свободна?
- Да. – Она вытерла слезы. – Илюша спит с часу до четырех. Скажите, куда. Я приду.
- Удивление блеснуло в его глазах – так решительно и твердо она сказала это.
- Но сейчас мне пора, – быстро добавила Таня. – Проводите меня. Или вы очень торопитесь?
- Выйдя со двора на улицу, Александр Сергеевич смеющимися глазами пробежал строчки на мемориальной доске и взял ее под руку.
- Вот был характер! – сказал он. – Афанасий Афанасьевич. Лечился у всех, у кого только можно, чтобы избавиться от тоски. Постоянно думал о самоубийстве. Ничего не помогало. А какие стихи! – Он крепче прижал к себе локтем ее руку: – «В моей руке такое чудо: твоя рука...»
- Это разве Фета стихотворение? – удивилась Таня.
- «А на траве два изумруда, два светляка...»

* * *

Александр Ефимович Флеров был человеком спокойным и уравновешенным. В его жизненные правила входило никогда не повышать голоса на мальчишек и договариваться с ними мирно, дружелюбно и без запугиваний. Гимназия между тем разрасталась и ко времени войны насчитывала без малого двести человек. Мальчишки, как назло, попадались всё больше отчаянные, родителей не слушались – да чего и кого было слушаться, если дурман прогрессивной мысли застлал родительские головы, так густо застлал, без просветов, что плыли родители в полном тумане и деток своих на пути растеряли. Не все, разумеется. Многие.

Александр Ефимович жил недалеко от Мерзляковского переулка, где по проекту архитектора Николая Ивановича Жерихова, друга и приятеля Александра Ефимовича, было зимой 1910 года построено здание знаменитой на всю Москву мужской гимназии. Построено оно было на деньги Александра Ефимовича и потому носило его имя: гимназия Флерова. Собственная же квартира Александра Ефимовича – весьма скромная и небольшая – находилась в Медвежьем переулке, а потому и зимой, и летом он ходил в гимназию пешком. Сторож, почтенный, седой, до странности похожий на самого Александра Ефимовича, хотя и пошире в плечах, принимал пальто, шляпу, калоши, развешивал вещи в шкафу, расправлял, сдувал аккуратно пылинки, снежинки – что бог на сегодня послал! – и сообщал Александру Ефимовичу последние события из жизни тех гимназистов, которые размещались «на квартирах», в верхнем этаже гимназии.

Александр Ефимович слушал, к плечу прислонившись бородкой.

– А надпись опять появилась? – спрашивал он глуховато.

Сторож опускал виноватую голову.

– Опять, ваше благородие. Ночей не сплю из-за этой надписи. Приду ровно в полночь, сотру. Вроде чисто. А утром – опять! Бес их знает!

Надпись, разговор о которой происходил каждый божий день, наносилась углем в одном и том же месте, а именно через всю стену курилки на самом верхнем этаже, являя собою при этом бессмыслицу: «Вясна ядѣть».

Был, наверное, какой-то отвратительный подтекст в этих словах, но Александра Ефимовича огорчало другое: стену курилки перекрашивали каждую неделю. Приходил маляр, курносый и рыжий, похожий на клоуна, ставил на пол тяжелое ведро со вкусно пахнущей розовато-бежевой краской, брал кисть и закрашивал грязь и разводы. Стена становилась прекрасной и чистой. Не то что изгадить углем, плюнуть было бы больно. Но кто-то упорный – увы – не сдавался, и утром «вясна» вновь чернела победно.

«Как это неприятно, – думал Александр Ефимович, опираясь на палку и медленно переступая отеками ногами по еще пустому, ярко натертому коридору. – Как это неприятно и странно, что у большинства детей не развито эстетического чувства. Вот это желание взять и запачкать – откуда берется? И главное, почему они так уверены, что грязное привлекательнее чистого? А злое, наверное, приятнее доброго?»

Мысли эти впервые посетили его давно, когда, будучи студентом факультета теологии, Александр Ефимович работал над диссертацией «Природа демонического в личности человека». Тогда, перерыв груды материала, окунувшись с головой в кровавые водовороты истории, он ясно понял, что «природа демонического» сильна в человеке до крайности, и так же, как божественная природа, она ищет себе путей в этот мир, пользуясь слабым существом, пришедшим из праха и в прах уходящим, переполняет его собою, сгрызает, съедает его изнутри, а после, оставив обглоданный остов, свободно уходит, куда ей взбредется.

«Человек, порожденный женою, – по памяти бормотал Александр Ефимович, усаживаясь наконец в глубокое кресло и надевая очки, – кратковечен и пресыщен печалью. Как цветок, он приходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается... Кто рождается чистым от нечистого? Ни один. Если дни ему определены и число месяцев его у Тебя, если Ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник, дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. А человек умирает и распадается: отошел, и где он?»

Пронзительная правота этих слов всякий раз заново поражала его, и он начинал думать о том, есть ли какой-то способ – зная, что всё это *так – только так* и никогда иначе, – помочь этим юрким прыщавым мальчишкам прожить свою жизнь по возможности чисто?

За дверью его кабинета послышалось сдержанное рыдание. Александр Ефимович давно снял с себя должность директора и остался скромным попечителем, при этом рыдать приходили к нему. Не только рыдать, а вообще – приходили. Директор Барков, Александр Семенович, был вспыльчивым, мог и прикрикнуть, но попечитель Флеров, Александр Ефимович, – никогда. Он знал, кто рыдает за дверью: опять Климентина Петровна. Александр Ефимович поднялся, отодвинул тяжелое кресло и отворил дверь.

На Климентину Петровну было больно смотреть. Круглые очки ее в тоненькой золотой оправе запотели изнутри, и слезы, прозрачные хрупкие слезы, проделали маленькие бороздки внутри очень нежной и розовой пудры. Климентина Петровна учила оболтусов танцевальному мастерству, а младшие классы еще и гимнастике. Но младшие – что! А вот старшие, у которых уже пробивались усы, голоса были лающими, сорванными, как у дворовых псов, буквально свели Климентину с ума. Похабным свели, издевательским образом. Писали любовные письма с намеками, совали под дверь георгины и флоксы, сорванные в дворовом палисаднике, назначали свиданья на Патриарших прудах и прочих таких же укромных местечках. Климентина

прибегала к Александру Ефимовичу и плакала на его плече. Александру Ефимовичу она годилась в дочери. Подлецы были неуловимы, следов никаких не оставляли, да хоть и оставь они этих следов видимо-невидимо, пороть по закону нельзя, запрещается. Исключить, правда, можно, но против этого у Александра Ефимовича был решительный протест: исключишь мерзавца, а он – на войну! Нет, лучше пускай Климентина рыдает.

– Ну, что там сегодня? – грустно сказал старый, обрюзгший, седой, с маленькими и добрыми, в густых ресничках глазами Александр Ефимович.

Климентина Петровна вынула из сумочки скомканное письмо и мокрой от слез рукой протянула его попечителю.

«Богиня, королева сердца моего! – было написано большими, отвратительно кривыми и словно бы пьяными печатными буквами. – Если вы не желаете смерти вашего раба и безумно влюбленного в вас человека, приходите сегодня в восемь часов вечера на Собачью площадку, где я буду ждать вас. Мой случай отчаянный, ибо если вы откажетесь вместе со мною, рабом вашим, испить нынче вечером чашу блаженства, то я недолго задержусь на этом свете. Пока жида и прочие интеллигенты не погубили окончательно святую нашу Русь, я должен успеть послужить ей. И поверьте, сударыня, когда бы не съедающая меня страсть к вам, я бы уже давно пал смертью храбрых на поле боя, давно обагрила бы землю моя православная русская кровь. Итак, теперь слово за вами. Лобзающий ручки и ножки ваш раб, верный рыцарь В.В.»

– Ох, Господи, гадость какая! – вздохнул Александр Ефимович.

– Я больше не могу! – простонала Климентина Петровна, хватаясь узенькими руками за свои пушистые кудрявые виски. – Они меня сводят в могилу!

– А вы успокойтесь, родная моя, – попросил Александр Ефимович и вытер носовым платком сильно вспотевший лоб. – Дрянное, однако, письмишко. «Жида и интеллигенты...» Однако! Кто же на них так влияет?

Климентина Петровна перестала всхлипывать и тупо смотрела заплаканными, теперь уже без очков, глазами на высунувшийся из-под фланелевой серой юбки кончик своего очень маленького, почти детского башмака.

– Такие убить могут, – вдруг вздрогнув, сказала она. – Мы думаем с вами, что всё это шутки, а они возьмут ружье да и застрелят.

Александр Ефимович тяжело задышал.

– Нет, тут я отнюдь не согласен, – ответил он и опять крепко вытер лоб свернутым в трубочку носовым платком. – Между убийством и гадким письмецом – дистанция огромного размера. Что это вы такое говорите?

Хрупкая, изящная, с носиком-пуговкой, с вишневыми от слез щеками, Климентина Петровна была похожа на девочку, и очень хотелось успокоить ее, тем более что с такой вот ребяческой и нежной внешностью она сама зарабатывала себе на хлеб, жила нелегко и, несмотря на частые слезы, была и сильна, и добра, и вынослива, хотя простодушна до крайности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.